ДБ
30
П-51
Крым
А. Полканов
Севастопольское
восстание
1830 г.

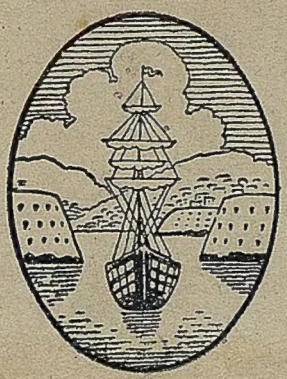
Per. 2216/65

Об
30 Крым
П-51

Ч. 3.

А. ПОЛКАНОВ

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 ГОДА



15/V
л/236

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1936

36-3
1874
ДБ Крым
30
П-51

А. ПОЛКАНОВ

36-3
1874

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 ГОДА

ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КРЫМ. АССР
1936

2
ГБМ Г-2247

Редактор *А. Максимович.*
Техредактор *К. М. Муратов.*
Отв. корректор *В. М. Терабилло.*

Р. публичная
торическая
тека РСФСР
26691 1966

ВВЕДЕНИЕ

3 июня 1830 года в городе Севастополе произошло массовое восстание матросов флотских и рабочих экипажей, солдат и „прочих гражданского звания людей", в результате которого „были ниспровергнуты все власти города", как доносил жандармский майор Локателли шефу жандармов графу Бенкендорфу, и до 7 июня город находился фактически в руках восставших.

Восстание это, своим кровавым призраком воскресившее пред Николаем I тени ненавистных ему декабристов, повергло венценосного труса в крайний испуг, о чем свидетельствует его „высочайший указ" Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову, в котором он снабжает последнего неограниченными полномочиями по подавлению восстания с правом истребовать сколько понадобится войск и предписывает „ежедневно доносить с нарочными курьерами о ходе дел при Севастополе"[1]. Самый употребленный здесь военный термин: „о ходе дел при Севастополе"—показывает, что этот „всеобщий мятеж" (как именовалось Севастопольское восстание в официальной переписке) рассматривался царем и его ближайшими помощниками, как весьма серьезное „военное дело".

О том, как напуган был Николай I Севастопольским восстанием и как боялся, чтобы оно не послужило сигналом для новых возмущений в других частях страны, которая до этого случая представлялась ему окончательно „умиротворенной",—свидетельствует другое распоряжение, о котором генерал-адъютант Адлерберг срочно ставит в известность главнокомандующего первой армией: „Его императорскому величеству благоугодно, дабы несчастное происшествие, в Севастополе случившееся, до времени не было разглашаемо"[2].

---

[1] Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА). Морской исторический архив, Архив морск. мин-ва, д. секретное № 4 по канцелярии главноком. 1-й армией.

[2] Там же.

Этой боязнью „разглашения“ объясняется и та тайна, которой было облечено все следственное и судебное производство по Севастопольскому восстанию. Судебное разбирательство настолько было засекречено, что мотивы осуждения остались не известными как самим подсудимым, так и высшему командованию, о чем сообщает главный командир Черноморского флота адмирал Грейг: „Сентенции (этим термином назывались приговоры военного суда) военного суда не только были скрыты от Черноморского начальства,—пишет адм. Грейг,—но не были даже объявлены подсудимым“ [1]. (Грейг имеет в виду офицеров). В этой боязни лежит и причина того, что Комитет министров счел „неудобным по самому существу дела“ допустить рассмотрение связанных с восстанием дел в судебном порядке в Сенате [2]. Этим страхом пред происшедшим восстанием, которое по словам Таврического губернатора Казначеева „хуже самой заразительной болезни чумы“ [3], объясняется и та невероятная быстрота, с какой были произведены следствие, суд и исполнение приговоров (в два месяца).

Наконец, этот же страх царя и его министров пред „заразительным действием“ восстания является первой причиной, вследствие которой Севастопольское восстание, несмотря на его большие размеры, осталось почти вовсе не освещенным в исторической литературе. И по окончании судебной процедуры все производство по делу о восстании в количестве нескольких сот томов было так глубоко и основательно запрятано в архивные подвалы, что даже в 80-х годах прошлого столетия оно было совершенно недоступно для исследователей. Так, мы имеем положительное свидетельство крымского историка В. Х. Кондораки, что когда он хотел „проверить сведения о бунте с официальными документами, ему говорили, что вся переписка по этому делу сгорела“ [4]. В печати времени Николая I мы вовсе не встречаем освещения Севастопольских событий 1830 года, кроме кратких упоминаний о них и лишь значительно позднее находим несколько кратких описаний очевидцев, составленных крайне тенденциозно.

На основании архивных материалов мы имеем одну единственную работу Хартахая „Женский бунт в Севастополе“ [5]. Хартахай, в виде исключения, имел возможность

[1] Там же.

[2] Лоциа. Архив народного хозяйства. Фонд адм. Грейга, д. № 21.

[3] Там же, д. № 20, выписка из журнала Комитета министров.

[4] Кондораки В. Х. В память столетия Крыма. Москва, 1883 г. стр. 214.

[5] Хартахай. Женский бунт в Севастополе. Журнал „Современник“, 1861 г., № 10.

пользоваться всеми архивными материалами, относящимися к Севастопольскому восстанию, причем даже некоторыми такими, каких до настоящего времени не удалось обнаружить ни в крымских, ни в ленинградских архивах.

Это исключение находит полностью себе объяснение в самом характере работы автора, являющейся типичным образчиком беззастенчивого искажения официальными дореволюционными „историками" фактов для получения необходимых с точки зрения их классовых интересов выводов.

Задача Хартахая была—умалить и дискредитировать Севастопольское восстание и стараться доказать, что оно, „вовсе не отличаясь политическим характером, не отличаясь серьезным размером и не представляя даже никаких особенных ужасов" [1], было простой „вспышкой" обычного чумного „бабьего и детского бунта", направленного против докторов.

Однако, как мы увидим ниже, все эти утверждения не имеют под собой никакого основания и находятся в полном противоречии с историческими фактами.

Изучение архивных материалов, состоящих из следственных и судебных дел, конфирмаций судебных приговоров Воронцова и царя, журнальных постановлений Комитета министров и Правительствующего Сената, различной официальной переписки между крымскими и центральными учреждениями, а также внутри самого Крыма, переписки между Воронцовым и Грейгом, рапортов всевозможных должностных лиц и т. п.—приводит нас к несомненному выводу, что 3—7 июня в Севастополе произошел не чумный „бабий бунт", а массовое восстание против местных властей и непорядков. Восстание матросов, мастеровых, солдат и их жен и прочих жителей слободок, возникшее на почве многочисленных злоупотреблений и бесправного положения матросов во флоте, а также чрезвычайных притеснений населения во время карантинного оцепления города в течение двух лет [2].

Таким образом изучение подлинных материалов по делу о Севастопольском восстании на конкретном примере показывает, как в дореволюционное время „делалась" официальная история, как в угоду правящим классам официальные „историки" совершенно беззастенчиво искажали и подтасовывали исторические факты,

---

[1] Хартахай. Цитир. соч., стр. 363.

[2] В основу работы автором положены архивные материалы Ленинградского отделения Центрального исторического архива (сокращенно—ЛОЦИА) по архивам: 1) Морскому историческому, 2) Военно-историческому, 3) Народного хозяйства, 4) Внутренней политики, а также Крымского архивного управления (Крымархив).

в особенности там, где это касалось массовых народных движений, чтобы дискредитировать последние.

Пример с Севастопольским „чумным бунтом“ весьма ярко доказывает, что необходимо совершенно заново пересмотреть всю историю так называемых чумных и холерных бунтов в России. Несомненно, что изучение подлинных архивных материалов по этим бунтам раскроет пред нами совершенно иную картину как самых событий, так и причин их возникновения, чем та, какая создана была официальной историей, услужливо выполнявшей „социальный заказ“. И мы, действительно, видим, что там, где это сделано уже—картина холерных бунтов в корне изменяется, примером чему служит весьма интересная работа П. П. Евстафьева по одному лишь „холерному бунту“ в Новгородских военных поселениях.

В этом именно отношении объективное изложение фактического материала по Севастопольскому восстанию должно иметь значительный интерес, раскрывая еще одно массовое народное движение первой половины XIX века в его истинной сущности и значении и разоблачая версию о нем дореволюционных казенных „историков“, исказивших его подлинное лицо, как массового восстания против местных властей, офицерства и чиновничества, восстания сыгравшего известную роль в расшатывании устоев разлагавшегося самодержавно-крепостнического строя.

Для лучшего и полного понимания Севастопольского восстания мы должны вкратце познакомиться с теми условиями, в которых находилось население города, в особенности его беднейшая часть—жители слободок,—за время четвертой турецкой войны (1827-1829) и в частности—с момента утверждения в городе „строгого карантинного термина“, т. е. строгой изоляции Севастополя от остального Крыма в связи с ожиданием заноса с театра военных действий чумы. Равным образом необходимо ознакомиться с положением за это время матросов и мастеровых и их семей в связи с теми продовольственными злоупотреблениями, какие тогда царили во флоте.

ГЛАВА I

Севастополь с екатерининского времени служил главной опорной базой и военным форпостом в непрерывной экспансии Российской империи в сторону Ближнего востока и в частности Турции с принадлежавшими ей проливами.

Строительство города шло параллельно росту Черноморского флота.

Больших размеров достиг флот уже в 1798 г., когда он насчитывал около 60 единиц, в числе которых было свыше 20 кораблей и фрегатов.

К четвертой турецкой войне флот состоял из 54 единиц, из них 18 кораблей и фрегатов и три парохода. Морских чинов было уже 12 000 человек[1].

С 1804 г. с закрытием коммерческого порта город принимает исключительно военный облик на основании ясно выраженной воли правительства—„завести здесь порт, как в Кронштадте", как писал командир флота Клокачев графу Чернышеву. К 1808 г. адмиралтейство в Севастополе расширяется, в связи с чем увеличилось количество мастеровых, состоявших из военно-обязанных матросов рабочих команд. Строительство Севастополя начинает особенно быстро развиваться с 1816 г., со времени назначения главным командиром Черноморского флота адмирала Грейга.

Ко времени четвертой турецкой войны (1827-1829 г.) Севастополь был уже самым большим крымским городом, население которого доходило вместе с военными до 30 000 человек, как определяет Головачев[2], а по исчислению Муравьева-Апостола даже до 41 155 человек, в то время как в Симферополе было всего 15 875 человек, в Керчи—13 106, в Феодосии—8 435, Бахчисарае—12 572, Евпатории—13 340 и Карасубазаре—12 673.[3] К этому времени

[1] Головачев. История Севастополя, как русского порта. СПБ. 1872 г. Авр. Асланбегов. Адмирал Грейг. СПБ. 1873 г.

[2] Головачев. История Севастополя, как русского порта. 1872 г.

[3] Муравьев-Апостол, Путешествие по Тавриде в 1820 г. СПБ. 1823 г., стр. 113—114.

в Севастополе насчитывалось уже около 2000 каменных домов, новые морские флотские казармы на 10 000 человек, три больших казенных дома для высшего начальства, Флотское училище юнгов на 250 человек, училище для девочек, военный госпиталь, военный карантин (близ Херсонеса), офицерская библиотека.

На трех новых элингах, построенных под руководством английских мастеров, закладывались из крымского дуба бриги, корветы и более мелкие суда.

Адмиралтейство занимало весьма большую площадь, начиная от самой Графской пристани (ныне III интернационала, построена в 1785 г.) вплоть до Южной гавани, и было отгорожено от города каменной стеной протяжением свыше 300 саженей. Вход в Адмиралтейство был так же как и теперь под башней с часами.

Город был разбросан на трех холмах и балках между ними. Центр города находился на южном холме (вокруг которого теперь идут улицы Ленина, Фрунзе и К. Маркса.)

Главной улицей была Екатерининская (ул. Ленина), начинавшаяся от Екатерининской площади (площадь Ленина).

Против адмиралтейской стены до Безыменного переулка шел ряд домов, в одном из которых жил протоиерей Гаврилов, а почти против самых ворот Адмиралтейства был дом военного генерал-губернатора Сталыпина. (Мы подробно останавливаемся на топографии города, так как это облегчит в дальнейшем понимание развертывавшихся в ночь с 3 на 4 июня 1830 г. событий.)

Соборная церковь находилась по левой стороне Екатерининской улицы вблизи от адмиралтейской башни. Сейчас же за Адмиралтейством были расположены внизу казармы рабочих экипажей, а дальше по улице—несколько частных домов, в том числе городского головы Носова и других купцов, женское училище и, наконец, казармы флотских экипажей—28, 29, 30, 31-го и 16-го рабочего, за которыми находилось училище флотских юнгов. На главной улице повсюду были разбросаны кабаки. Дальше шли пустыри, заканчивавшиеся разбитым на холме молодым садом (теперь Исторический бульвар). На месте нынешнего Приморского бульвара находилась каменная Николаевская батарея и артиллерийские казармы. Дорога от Екатерининской площади к Большой Морской улице шла через незастроенный холм по рытвинам и ухабам. Справа от нее были казармы гарнизонных артиллеристов, а слева возвышалась горка, застроенная хижинами и землянками,—„Хребет беззакония", с которой вниз спускались тропки и сточные канавы. С перевала холма открывался вид на Артиллерийскую бухту, берега

Вид на Севастопольский рейд и город в половине XIX в. Стрелкой указана Корабельная слободка.

которой так же как и Южной бухты, сплошь заваленные навозом и грудами мусора, издавали зловоние, разносившееся далеко по сторонам. Слева по Большой Морской улице были расположены дома преимущественно морских офицеров действительной службы и отставных, а также помещиков.

Вверх по Б. Морской улице (теперь улица К. Маркса) находился дом генерал-майора Примо, бывшего во время карантина председателем Продовольственной комиссии. За домом Примо начинались хутора и пустыри.

На Б. Морской были большие хорошие дома, выстроенные за счет всевозможных не совсем чистых доходов, связанных с хозяйственными офицерскими должностями.

Вершина южного холма занята была двумя кварталами, в которых проживало по преимуществу офицерство и чиновничество. Здесь находился ближе к „Хребту беззакония" дом флотского начальника контр-адмирала Скаловского.

Конец южного холма занимал „Хребет беззакония", возникший „явочным порядком" на городской земле. Это было беспорядочное скопление хижин и землянок, в которых ютились мелкие ремесленники, розничные базарные торговцы и торговки, опустившиеся отставные офицеры и чиновники, грузчики, поденщицы и т. п. Население здесь было самое бедное и вместе с тем в глазах начальства и полиции самое „беспокойное".

По балке и склону холма за Артиллерийской бухтой была расположена Артиллерийская слободка, жители которой состояли преимущественно из мелких отставных чиновников, отставных матросов, мещан, матросских вдов, а также семейств матросов и солдат действительной службы.

В конце Южной бухты у причалов стояло несколько блокшифов—больших пловучих бараков, в которых содержались арестанты. Здесь же несколько дальше по склонам глубокой балки расположена была так называемая Каторжная слободка, населенная семьями этих арестантов.

От этого места до Павловского мыска и дальше до Корабельной слободки простирался большой пустырь, на котором было разбросано лишь несколько казарм и других казенных зданий. Корабельная слободка, таким образом, находилась на отлете в расстоянии около трех километров до центра города.

Дорога на Корабельную слободку шла через узкую пересыпь, отделявшую конец Южной бухты от большого и глубокого болота, находившегося на месте нынешнего вокзала и запасных железнодорожных путей.

Это необходимо будет помнить при описании восстания и мероприятий по его предупреждению, предпринимавшихся военным командованием.

Корабельная слободка начиналась у самого берега Корабельной бухты. Здесь было всего 352 дома с общим количеством 1119 жителей, главную часть которых составляли женщины—360 и дети—423, мужчин было около—300 человек. Большое количество домов представляло из себя пещеры, вырубленные в крутом склоне мягкого известняка, три стены которых составляли скалы и только одна, фасадная с окнами и дверью, была сложена из напиленного здесь же камня. Здесь ютилась самая бедная часть населения Севастополя—яличники, рыбаки, грузчики, жены и вдовы матросов и солдат и пр.

Вот и все части Севастополя ко времени описываемых нами событий.

Чем же занималось население города и в частности проживающее на слободках Карабельной и Артиллерийской? Главную массу населения составляли военные действительной службы. Гражданское население в большей части состояло из семей военнослужащих, из отставных военных нижних и офицерских чинов, чиновничества, торговцев и ремесленников.

Промышленности в городе, кроме постройки военных судов, не было никакой. И почти все гражданское население так или иначе кормилось вокруг военного. После закрытия коммерческого порта (в 1804 г.) торговля совершенно упала.

Достаточно сказать, что из двадцати насчитывавшихся в городе капиталов, только один принадлежал купцу второй гильдии, а остальные—третьей[1].

Купцы вели розничную торговлю бакалейными, мануфактурными и т. п. товарами, причем значительная их часть „кормилась“ вокруг военного ведомства, в качестве всевозможных интендантских поставщиков (муки, мяса, дров и т. д.).

Казенные поставки были взаимно выгодны и поставщикам и военным чинам, ими ведавшим, благодаря огромным злоупотреблениям, в результате которых известная часть офицерства строила себе в городе доходные дома и покупала имения и хутора, становясь крымскими помещиками, поставщики же наживали на этих спекуляциях большие капиталы. Типичным примером такого беззастенчивого купца-спекулянта является городской голова Носов, с которым мы еще встретимся в дальнейшем. Не имея никакой торговли и даже не являясь официально казенным

[1] Лоциа. Архив внутр. политики. Журнал Комитета мин. за 1831 г.

поставщиком, он из года в год наживал огромные суммы на продаже дров военному ведомству.

Дело совершалось весьма просто. Казенная цена дров была 18 руб. за кубическую сажень хвороста. В торгах на поставку дров участвовали подставные лица Носова, которые принимали на себя поставку по казенной цене, внося установленный законом залог. Носов же, оставаясь в стороне, в это время заготовлял в своем лесу дрова и свозил их в город. К условленным срокам „поставщики" не сдавали ни одного пуда дров, залоги их поступали в доход казны, и начиналась переписка „по начальству" с указанием на срыв заготовок и на угрозу для армии и флота остаться на зиму без топлива. В результате высшее начальство разрешало приобретать дрова по „вольной цене", которые при содействии коменданта, полицмейстера и других „нужных" людей и покупались у Носова уже по цене от 80 до 144 руб. за куб. В итоге такой „простой" операции целиком покрывались расходы по потере залога, оплате услуг всех участвовавших в деле официальных лиц, а львиная доля оставалась в кармане Носова, который в результате этих спекуляций получил две золотые медали „за полезное" и стал городским головой.

Существовал другой, еще более злостный тип спекулянтов, которые наживались на поставке продовольствия и обмундирования для армии и флота. Спекуляции их носили еще более грязный характер и сводились к наживе за счет качества сдаваемых товаров и продуктов, в результате чего матросы и солдаты получали горькую муку с песком, тухлое мясо, червивые сухари, разбавленный водою уксус, гнилую обувь, ветхое обмундирование и т. п. под маркой „отменного качества". Чистая прибыль от этих махинаций делилась между поставщиками и интендантскими чиновниками.

Наконец, был еще один вид более мелкой спекуляции адмиралтейским имуществом, в которой помимо адмиралтейских властей и спекулянтов принимала участие полиция, „закрывавшая глаза" на вывоз и продажу казенного имущества. Насколько этот вид спекуляции был широко распространен, видно из того, что дома и их оборудование адмиралтейских офицеров и чиновников обычно целиком сооружались из казенных материалов. На базаре открыто продавалась парусина от парусов и другие краденые вещи. „О недостатках, найденных в Севастопольском порту в хозяйственных частях", наконец, вынужден был констатировать и сам Грейг в рапорте царю [1].

[1] Лоциа. Морск. ист. архив, д. № 367(63).

Эти недостатки Грейг пытался лишь объяснить малыми ассигнованиями и упущениями Черноморской заготовительной экспедиции. Однако, чтоб узнать, куда девался на самом деле материал, достаточно было бы обойти севастопольских торговцев и вновь выстроенные большие дома высшего офицерства. В результате такого отношения к адмиралтейским материалам, склады последнего пустовали даже во время войны. Об этом прямо говорится в донесении флигель-адъютанта Римского-Корсакова, производившего ревизию в Севастополе по поручению Николая I: „Я осматривал только главнейшие вещи: парусины так мало, что ни одного марселя сшить нельзя. Блоков из семисот одиннадцати—годных около тридцати, бочек нет“ [1]. В высочайшем указе Грейгу от 16/X 1829 г. явно признается наличие злоупотреблений. В нем Николай I прямо пишет: „Я убеждаюсь, что в порту сем существуют не меньшии злоупотребления, чем продовольственные по части экипажных магазинов“ [2].

Хищения производились почти открыто. Когда же перекупщики, не поделившись с полицией, задерживались с краденым, то, несмотря на явные улики—штемпеля Адмиралтейства,—последнее нагло отрицало принадлежность ему краденых вещей, сообщая, „что же касается вещей, арестованных полицией, то оные не принадлежат порту и адмиралтейству, а вероятно привезены сюда из других каких-либо мест“ [3].

В доле со спекулянтами работали высшие гражданские и военные чиновники, пуская тайно через своих доверенных лиц в эти спекуляции нажитые от взяток средства.

Значительно большая по количеству в Севастополе была группа мелкой торговой буржуазии, которая в части мелочных и разносных торговцев по своим интересам и положению весьма близко соприкасалась с ремесленным населением города. Ремесленников в городе было довольно много. Это были—портные, шапочники, сапожники, скорняки, серебряники, цирюльники, ваксовщики и т. п. Довольно много было и иностранцев: англичан, французов, швейцарцев, немцев, австрийцев, турок и в особенности греков. Это были мастера, привлеченные постройкой корабельных доков, домашние учителя и воспитатели, музыканты и мелкие торговцы. Среди них была группа лиц без определенных занятий, так называемых „отыскивающих дворянство в России“.

---

[1] Лоция. Морской исторический архив, д. № 452.

[2] Лоция. Морск. истор. архив, д. № 367 (63).

[3] Н. Закревский. Записки врача морской службы, гл. VI, стр. 49. Морской сборник, 1861 г.

Привилегированную, „благородную“ часть населения составляло многочисленное морское и сухопутное офицерство, военное и гражданское чиновничество.

Высшее и среднее офицерство и чиновничество, как мы уже указали выше, принимало самое деятельное участие в спекуляциях и в систематическом расхищении казенного имущества. Значительную статью доходов их составляло повседневное более мелкое взяточничество, которое снизу доверху проникало во все решительно правительственные учреждения николаевского времени. Здесь, на окраине России, эта всеобщая язва проявлялась в особенно широких и беззастенчивых формах. Ни одно обращение в бесчисленные канцелярии не могло обойтись для обывателя без взятки. Брали решительно во всех канцеляриях как гражданского, так и военного ведомства. Брали непосредственно и через подставных лиц. Брали за помощь в обходе законов, брали и по делам, не вызывающим никаких сомнений в их законности. Брали не только с „простого звания людей“ и „гражданских просителей“, но даже с чиновников за своевременную выплату жалованья, выдачу бумаги о переводе и т. п.

Вся тяжесть этой системы незаконных поборов в первую очередь ложилась на беднейшую часть населения Хребта и слободок, которым приходилось в своих мелких промыслах повседневно сталкиваться с представителями фиска и полиции.

Весьма большой интерес в описываемое время представляют отношения внутри морского офицерства. Не говоря об офицерах, занимавшихся благодаря своему служебному положению спекуляциями и связанных поэтому и между собой и с гражданскими спекулянтами общностью интересов,—офицерство, совершенно изолированное от гражданского населения, делилось на несколько группировок, находившихся между собой в неприязненных отношениях. Прежде всего разделение шло по национальной линии. Среди флотских офицеров было значительное количество греков и небольшая группа итальянцев. Русские, греки и итальянцы вне службы совершенно не общались между собой. А на службе между ними шло постоянное соперничество и подсиживание друг друга. Далее морские офицеры разделялись на местных уроженцев, уроженцев Николаева и „балтийцев“, переведенных в Севастополь из Балтийского флота. Первые две категории составляли своего рода флотскую „аристократию“. Севастопольцы имели здесь в лице своих родственников ближайших начальников, благодаря чему весьма быстро продвигались

Вид на Севастополь с Северной стороны в половине XIX в. Слева на берегу—Корабельная слободка, справа (с башней)—Павловский мысок.

по службе и получали лучшие и самые доходные назначения. Они ближе всего были и ко всевозможным „доходным“ должностям.

„Николаевцы“, имевшие своих покровителей-родственников в Николаеве, где было Главное управление Черноморского флота, также пользовались с успехом своим положением для прохождения службы.

„Балтийцы“ в Севастополе были „париями“ среди офицерства. Переводились сюда на далекую окраину из столицы или офицеры, не имевшие никаких связей, или же за провинность, нарушение дисциплины, „буйный характер“, неуживчивость и т. п.

Положение их в Севастополе было незавидное. В свое общество ни севастопольцы, ни николаевцы их не принимали. Продвижение по службе было весьма замедленным, и местные офицеры их постоянно обгоняли. Им приходилось подолгу оставаться в младших офицерских чинах и, не имея доступа к доходным должностям, жить на жалованье младшего офицера.

Такое положение отщепенцев порождало среди них недовольство и оппозиционное настроение к местному начальству, чрезвычайно яркий пример чему мы увидим в поведении во время восстания лейтенанта 37-го флотского экипажа Энгельгардта и других младших офицеров, которому военно-судная комиссия дала такую характеристику:

„Службу исполнял с уклонением, начальничьего приказания в точности не выполнял, характера самого беспокойного и строптивого, через что получал от начальства своего неоднократные выговора... Был посажен генерал-губернатором Сталыпиным на Павловский мысок за явное буйство и неповиновение карантинным распоряжениям“ [1].

Однако в большинстве дело сводилось лишь к глухому недовольству, манкированию службой, пьянству и буйству.

„Черный“, „простого звания“ народ, отставные матросы и солдаты занимались преимущественно рыбной ловлей, яличным и городским извозным промыслом, поденными работами. Женщины—так же поденной работой в городе и в пригородных имениях, хуторах, в огородах и садах. Значительным подспорьем для некоторых являлись коровы и козы. Очень многие из них торговали на базаре в „обжорном ряде“ всякой снедью собственного изготовления. „Промышленные женщины, матроски,—пишет Закревский,—торгуют на рынках рыбой, устрицами, ракушками, огородной зеленью, печеным хлебом, молоком, вареным и печеным стряпаньем незатейливой кухни про-

[1] Лоциа. Военно-исторический архив. Фонд корпусных командиров, д. № 57, о 37-го флотского экипажа лейтенанте Энгельгардте.

столюдина-чернорабочего... В этом заключается и вся промышленность населения севастопольских слободок. Незавиден быт этого населения, скудна и промышленность"[1].

Однако все это при ничтожной поденной плате и невозможности иметь работу круглый год далеко не могло обеспечить существование семьи. Существенную помощь в мирное время оказывали своим семьям матросы, которых отпускали иногда на вольные заработки. Однако во время войны и эта возможность отпала. Поэтому единственным средством для бедноты слободок обеспечить себе существование на зимние месяцы были полевые работы в помещичьих имениях как в окрестностях Севастополя, так и в более отдаленных местах.

Благодаря малому количеству крепостных крестьян—в Крыму был значительный спрос на рабочую силу в помещичьих имениях, что давало возможность приработка для жителей слободок. Однако в неурожайные годы, которые были частым явлением в то время, заработки сходили почти на-нет. Так, например, незадолго до войны 1828 года целый ряд лет были сплошь неурожайными, это вынудило правительство даже оказывать в 1825 г. продовольственную помощь Крыму, в котором был настоящий голод[2].

В общем же, несмотря даже на летние заработки, положение жителей слободок было крайне необеспеченным, и самая неприкрытая нужда была здесь обычным гостем.

К этому надо еще прибавить постоянные полицейские и чиновничьи поборы и систематическое выманивание последних грошей духовенством.

Вот как описывает положение слобожан упоминавшийся нами выше современник Севастопольского восстания доктор Закревский: „Большею частью мне приходилось посещать бедные лачужки, тут тесно, грязно, сыро, холодно. Зайдешь так в другую, третью, десятую лачужку—видишь тот же быт жильцов; ту же бедность, те же лишения, сырость, грязь, холод и обогреться нечем. Лачужка приросла к крутому скату горы или под навесом скалы—тыл в земле, фасад только снаружи[3]..."

---

[1] Н. Закревский. Цитир. соч., стр. 295.

[2] Лоциа. Архив внутр. политики, журналы Комитета министров за 1825—1831 гг.

[3] Н. Закревский. Цитир. соч., гл. 1, стр. 295.

ГЛАВА II

Если крайне тяжело было положение жителей „простого звания“ севастопольских слободок, то еще тяжелее и бесправнее было положение матросов флотских и рабочих экипажей.

Нижние чины служили тогда двадцать (во флоте) и двадцать два года. Общая система военной „палочной“ дисциплины в войсках николаевского времени здесь, на далекой окраине, принимала особенно откровенные и жестокие формы. Солдаты и матросы были в глазах офицеров бессловесной скотиной, лучшим способом внушения послушания и уважения к начальству для которых признавались—порка и зуботычины.

Флотские экипажи пополнялись преимущественно рекрутами из крестьянской молодежи, никогда не видавшими в своей жизни моря. Рабочие экипажи пополнялись главным образом из городской молодежи—рабочих и мастеровых. Дисциплина среди них поддерживалась исключительно телесными наказаниями (розги, плети, линьки), которым и матросы и мастеровые подвергались за малейшую провинность, а зуботычины были обычным приемом для исправления мелких недочетов в работе и по службе.

Вот как описывает положение матросов в Черноморском флоте Кондораки: „Варварство командиров пароходов нередко доходило до того, что в морозные дни приказывали раздевать догола чуть провинившихся матросов, класть на пушки и пороть линьками до такой степени, что некоторые умирали через два часа“[1].

Еще более ухудшалось положение матросов во время войны, когда флот находился почти беспрерывно в плавании и когда дисциплина еще более усиливалась обстановкой военного времени.

Войны же со времени завоевания Крыма не прекращались. Так в 1787 г. была вторая война с Турцией. В 1799 г. русский флот наоборот оказывал Турецкой Порте „помощь“ „против зловредных намерений Франции“ в

[1] Кондораки. В память столетия Крыма, т. VIII. стр. 212. 1883 г.

Средиземном море. В 1799 и 1800 гг. Черноморский флот восстанавливал власть Неаполитанского короля и „водворял спокойствие“ в Южной Италии. С 1806 г. по 1812 г. велась третья война с Турцией. В 1827 г. началась Наваринской битвой четвертая Турецкая война, продолжавшаяся до сентября 1829 г.

Таким образом матросы призыва 1806 г. целых десять лет,—т. е. половину своей службы, провели в военных походах.

Помимо общих тяжелых условий службы, в военное время матросы много терпели от отвратительной пищи, так как царившие во флоте злоупотребления с продовольствием и обмундированием не только не уменьшались во время войны, но принимали еще большие размеры.

В результате дурной пищи во флоте широко развивались повальные болезни.

Не лучше было и положение матросов рабочих экипажей, работавших главным образом в Адмиралтействе на постройке и ремонте судов. Рабочий день их продолжался чрезвычайно долго: зимой с восхода до захода солнца, летом с четырех часов утра тоже до захода солнца, а в июле и в августе работали часа два и после захода солнца.

Дисциплина и обращение начальства в рабочих экипажах были столь же жестокими, как и во флоте. Не даром, когда восставшие громили квартиру успевшего скрыться вице-адмирала Патаниоти и лейтенант Энгельгардт, заступаясь за него, сказал, что он „хороший“, то один из мастеровых рабочего экипажа ответил: „врешь, он нас, плотников, бил по зубам“ [1]. Между тем, матросы рабочих экипажей были наиболее развитыми и сознательными, так как в огромном большинстве состояли из высококвалифицированных по тому времени слесарей, кузнецов, столяров, плотников и т. п.

Равным образом гораздо большим развитием и сознательностью по сравнению с матросами береговой службы и солдатами отличались матросы флотских экипажей, плававшие не только по Черному морю, но не раз посещавшие и заграничные порты Средиземного моря. Заграничное плавание знакомило их с более культурной жизнью населения, освободившегося от крепостного права, а участие в войне против турок не могло не столкнуть их с Некрасовскими казаками, бежавшими в Турцию от невыносимого самодержавного режима, политического и религиозного угнетения. И не только с некрасовцами, но и с другими русскими беженцами, в особенности из военных

[1] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 57.

поселений, которые, „оставляя собственное имущество и часто семейство, бежали в Турцию, на Кавказ...“[1] Эти встречи не могли не развивать в известной части наиболее сознательных матросов критического отношения к самодержавному строю и его режиму произвола и насилия.

Не лучше правового было и материальное положение матросов всех экипажей. Одной из язв, разъедавших сверху донизу весь организм самодержавного строя при Николае I, были бесчисленные злоупотребления и казнокрадство. Эти явления во время войны принимали еще большие размеры и совершались совершенно открыто и беззастенчиво. Крали поставщики, интендантские чиновники, офицеры, ведавшие хозяйством, каптенармусы и т. д. Насколько нагло совершалось расхищение казенного имущества за счет солдатской и матросской массы, мы видим из одного примера, приводимого доктором Закревским. Офицеру было поручено доставить на корабле для военного госпиталя 2000 бутылок портвейна, которые он принял в ящиках. Офицер решил угостить капитана и офицеров корабля несколькими бутылками вина и приказал вскрыть ящик. Выпили по бокалу и с отвращением выплюнули, оказалось, что во все 2000 бутылок была налита... морская вода!

Офицер так и сдал воду за портвейн и на этой спекуляции интенданты и госпитальное начальство получили около 20 000 рублей чистого дохода за счет больных солдат, для которых назначался портвейн.

Таким же беззастенчивым образом шла спекуляция за счет матросов, которым сбывалась гнилая мука, червивое мясо, заплесневелые сухари, негодные к употреблению крупы и т. д.

В результате явных и многочисленных злоупотреблений с продуктами на почве плохого питания во флоте начала весьма широко развиваться эпидемия цынги и желудочных заболеваний, что вызвало, наконец, брожение среди матросов. Слухи об этом дошли до царя, который отрядил своего флигель-адъютанта Римского-Корсакова произвести расследование „о беспорядках по управлению Черноморским флотом“.

Обследование это было закончено царским ревизором в сентябре 1829 г. и относится ко времени, когда город Севастополь был уже подвергнут строгому карантинному оцеплению. Римский-Корсаков лично осматривал Севастопольские „морские провиантские, провизионные и экипажные магазины, а также весь наличный такелаж и парусину“.

---

[1] Евстафьев. Восстание Новгородских военных поселян. М. 1934 г. стр. 101.

Царский ревизор прежде всего нашел, что „всех вообще припасов, а особливо по порту гораздо меньше, нежели должно быть в главном порту и в военное время“[1]. Во-вторых, им были установлены вопиющие злоупотребления с продуктами питания, выдаваемыми для довольствия матросов флотских и рабочих экипажей. Римский-Корсаков взял до 700 проб муки из разных складов и разных кулей, причем „решительно во всех нашел муку с примесью песка больше или меньше... В весьма многих же нашел муку с затхолью и прогорклую,—как доносит он в своем рапорте царю,—а много, которая совершенно гнила и никуда не годится. Смотритель складов Бабаев о последней сказал, что она еще не принята, но, зная эту тонкую уловку, что квитанции поставщикам выдают лишь когда удастся всю такую муку сбыть, я заявил, чтобы поймать его, что смотр магазинов уже кончил, а на другой день мне дали знать, что отпускают муку 17-му рабочему экипажу и я нашел, что 100 кулей было выдано из этой негодной муки, которая и была уже вынесена из магазина“[2].

Не лучше обстояло дело и с другими продуктами. Крупа была обнаружена в складах с „затхолью и червяками“. Среди сухарей также оказались „непринятые“, „из которых,—пишет Римский-Корсаков,—однако я поймал, что отпускались на зафрахтованные суда для войска. Масло, перевезенное с корабля на склад, было все с горечью и сальным вкусом. Гороха некоторая часть нехороша, с затхолью и нечист, есть и совершенно дурной, который называют непринятым, а заготовленные окорока оказались так сухи и крепки, что их не иначе можно употреблять, как после продолжительной выварки, а так как на брандерах выварка не производится, то нельзя всего количества (151 пуд 32 ф.) употребить“[3]. В порту вовсе не было масла и годной солонины.

Ревизор обнаружил 3209 пудов солонины, заготовленной подрядчиком англичанином Атвудом, которая „была до такой степени гнила и совершенно никуда негодна, что Черноморская хозяйственная экспедиция определила ее не отпускать, однако велено ее беречь. Причину сбережения тухлого мяса не мог объяснить и сам обер-провиантмейстер, а так как и она,—добавляет Римский-Корсаков,—как-нибудь будет отпущена, подобно муке и сухарям,

---

[1] Лоциа. Морской истор. архив. Дело № 452. Донесение на высоч. имя флиг.-адъютанта Римского-Корсакова.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

то я ее опечатал"[1]. Также оказалась негодной, сильно разбавленной водой, и водка, выдававшаяся матросам „по чарке" во время похода, а равным образом и уксус, который был „так водян, что я оставил одну бочку под своей печатью", пишет обследователь.

Наконец „солод решительно весь очень дурен с песком, с пылью, с шелухой и несколько затхлый. Я взял два куля—один по выбору смотрителя, второй—какой попался: в первом—солод с песком, пылью, не просеянный, с затхолью и попадаются червяки, во втором—есть даже и тараканьи гнезда"[1].

В своем заключении по обследованию Римский-Корсаков прямо пишет: „Продовольственная часть здесь в отлично дурном положении и злоупотребления по ней так велики, что они требуют тщательнейшего исследования, но которого, я откровенно должен сознаться, я сделать не в силах. Тут нужна гораздо большая моей опытность, без которой самое большое мое усердие может обмануться и быть обманутым людьми, привыкшими ко всем изворотам закоренившего здесь систематического злоупотребления"[2].

Трудно, казалось бы, более ярко и доказательно представить всю картину хищений, царившую в Черноморском флоте, которую к тому же обрисовал царский ревизор. С этим заключением согласился целиком и сам Николай I, который 16/X 1829 г. дал высочайший указ, где сообщается Грейгу „об отправлении в Севастополь контр-адмирала Беллинсгаузена для изыскания виновников в открытых флигель-адъютантом Римским-Корсаковым злоупотреблениях и беспорядках, особенно по части продовольствия"[3].

Таким образом самое поверхностное обследование одного Севастопольского порта, несмотря на все ухищрения интендантских чиновников, выявило вопиющую картину злоупотреблений с продовольствием и прочими казенными материалами, что констатировал в своем указе Грейгу и сам царь.

После этого, казалось бы, возможен был единственный конец этого дела: смещение Грейга и предание суду всех непосредственных виновников злоупотребления. Однако такой „естественный" конец вовсе не был свойственен ультра-бюрократической системе самодержавного строя, составлявшей единую цепь, все звенья которой крепко держались друг друга и при которой казнокрады всех рангов ревностно друг друга покрывали.

Грейг начинает „отписываться". В своем письме на имя князя Меньшикова он опровергает изложенное в донесении Римского-Корсакова: „тот, кто сие донес государю импе-

[1] Там же.
[2] Там же.
[3] Там же. Высоч. указ. адм. Грейгу от 16/X 1829 г.

ратору, что болезни, во флоте существующие, есть последствие чрезвычайно худой провизии для довольствия нижних чинов употребляемой, осмелился сделать его императорскому величеству донос, обличенный ложным, — командирами, офицерами и нижними чинами, на флоте находящимися" [1].

Несмотря на вторую ревизию, в результате которой было энергичное требование срочно арестовать и выслать в Петербург всех виновных в злоупотреблениях,—мы читаем новую отписку адм. Грейга Николаю I, что „по обвинению многих лиц затруднительно их отправить в С.-Петербург", и что „об обвиняемых подрядчиках нет разрешения на отправку их" [2]. И вместо ожидаемого грозного выговора Грейгу за такое отношение к выполнению „царской воли", мы совершенно неожиданно видим, что „дело прекращено в ожидании общей в свое время ревизии в Государственном контроле отчетов по управлению Севастопольским портом" [3].

Таким образом, пока в Севастополе шли ревизии,— Грейг, главный интендант Черноморского флота и прочие заинтересованные лица со своей стороны не теряли времени и всеми путями личных дворцовых связей добивались, чтобы Николай прекратил это дело, доказывая, что „показание (матросов.—*А. П.*) о худости сухарей.... оказалось легкомысленного происхождения, от упрямства"??!! [4]. А так как „упрямство" матросов было хорошо ведомо Николаю и по участию их в восстании декабристов и в Севастопольском „всеобщем возмущении"—то „доводы" адмирала вполне, повидимому, убедили царя.

Заметим, что, объясняя жалобы матросов „упрямством", Грейг этим сам себя бьет, так как в письме к Меньшикову он, наоборот, доказывал, что матросы не только не жаловались, но даже сами „обличали ложный донос" Римского-Корсакова. Но, надеясь на своих высоких покровителей при дворе, Грейг нисколько не смущался такими противоречиями.

Грейгу удалось не только добиться прекращения дела о злоупотреблениях во флоте, но и получить от Николая высочайший указ, воспрещающий производить в дальнейшем какие бы то ни было расследования о действиях главного интенданта Черноморского флота, который-де стоит выше „всяких подозрений".

---

[1] Авр. Асланбегов, Адм. А. С. Грейг. СПБ. 1873 г., стр. 161.
[2] Лоция, Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.
[3] Лоция. Морской истор. архив, д. № 452 (Гл. морск. арх., делопр. адм. Грейга за 1829 г. № 35).
[4] Лоция, Архив. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.

ГЛАВА III

Ознакомившись с общими условиями, которые подготовили почву для восстания и способствовали вовлечению в него нескольких тысяч недовольных матросов, мастеровых и беднейшего гражданского населения Севастополя, перейдем теперь к описанию событий, послуживших для него ближайшей причиной.

Во время четвертой Турецкой войны, которая фактически началась в 1827 г., а официально объявлена была в 1828 г., в действующей сухопутной армии вспыхнула эпидемия, объявленная чумной, которая перекинулась в Бессарабию и даже охватила собою Одессу, где была, впрочем, быстро ликвидирована. Ввиду того, что Черноморский флот с одной стороны, постоянно имел соприкосновение с действующей армией, а с другой стороны, часто посещал Севастопольский порт, куда привозил пленных и беженцев, брал военное снаряжение и продовольствие,—Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов, которому был подчинен и Крым, отдал приказ о взятии Севастополя в мае 1828 г. в карантинное оцепление [1].

Мера эта предпринята была в тех целях, чтобы чума через Севастополь не была занесена в другие места страны. Так как опасность заноса болезни была лишь чрез матросов плавающих кораблей, пленных и беженцев, то для предотвращения заноса заразы вполне достаточно было бы оцепить определенную площадь, к которой пристают корабли и выдерживают установленный карантин. Такое обширное и вполне изолированное место и имелось на окраине города близ Херсонеса, где был расположен военный карантин.

Однако „мудрое“ начальство решило иначе и охватило весь город карантинной цепью, в которой находилось свыше 5000 человек воинских частей и вспомогательных отрядов специально для этого мобилизованных крестьян—татар, простиравшейся на 30 верст вокруг Севастополя. Эта нелепая мера уже как бы заранее обрекала население города в жертву чуме и на голод, если бы таковая на самом деле сюда была занесена.

[1] Лоциа. Морск. ист. архив, д. № 452.

До июня месяца 1829 г. это карантинное оцепление было не очень стеснительно для населения, так как в город свободно разрешался ввоз продуктов, правда, только через две заставы—Северную и Южную. Также и жители выпускались за пределы оцепления при соблюдении некоторых предосторожностей, которые были не обременительны. Пастьба скота вообще не была стеснена. Единственным последствием оцепления было — вздорожание продуктов, фуража и топлива, скупавшихся спекулянтами и перепродававшихся ими населению по повышенным ценам.

Положение резко ухудшилось с назначением нового начальника карантинного оцепления полковника князя Херхеулидзева, ставленника гр. Воронцова. Не по разуму усердный князь сразу же решил проявить свою деятельность и, не сговариваясь ни с кем из высшего начальства города, пользуясь полномочиями, полученными от графа Воронцова, 16 июня 1829 г. в 8 часов вечера известил флотского начальника города Севастополя контр-адмирала Сальти, что с утра следующего дня—17 июня,— он „восстанавливает полный карантинный термин, причем впредь все желающие выехать из города будут предварительно выдерживаться в карантине с сохранением своего платья 19 дней, без сохранения платья — 14 дней с окуркой". Эта мера не была ничем решительно вызвана, так как в городе совершенно не наблюдалось никаких эпидемических заболеваний, а на Севастопольский рейд вплоть до 11 июля не заходило ни одно судно.

Во флоте в это время также не было подозрительных по чуме заболеваний, и на всех кораблях, плавающих в море, соблюдались самые строгие до нелепости профилактические мероприятия.

Так, Грейг издал следующий приказ по флоту: „Для предохранения судов от заразы, между войсками распространенной, хотя прекращено всякое вообще сообщение флота с берегом и даже судов между собою; но для вящшей в сем важном случае предосторожности и для уничтожения сей гибельной болезни, ежели бы она (чего боже сохрани) открылась на каком-либо судне, я нахожу нужным следущие правила:

§ 5. Все без изъятия вещи сумнительным принадлежащие мочить несколько раз в воде, потом выжать и повесить для сушения за бортом, дабы никто не мог с ними прикоснуться.

§ 6. Люди, кои для присмотру за сумнительными и для прислуги им избранные, должны иметь руки, ноги, лицо и все тело вымазанные жиром, салом или маслом—деревянным, конопляным, или коровьим, равно, как и платье

на них находящееся. По недостатку сих вещей можно употребить деготь или смолу.

§ 10. У вахтенных должны быть у всех вообще руки до локтей, головы, лица и ноги вымазаны масляным веществом, а буде оного достаточно, то и все тело.

§ 12. При генеральных действиях, где вся команда должна быть наверху, желательно, чтобы брюки и рубахи были равномерно напитаны жиром.

§ 14. На берегу разделять матросов артели, чтобы не общались между собой.

§ 16. Так как чумная зараза распространяется одним прикосновением, то главное правило для уничтожения оной: в избежании прикосновения и покрытие тела маслом или смоленым веществом"[1].

Несмотря на протест со стороны флотского начальника, Херхеулидзев провел в жизнь свое постановление, в результате чего город внезапно оказался отрезанным от остального Крыма. В связи с этим оказались задержанными на целых 19 дней казенные фурщики, привезшие разные грузы, и крестьяне, приехавшие со своими продуктами на базар. Таких подвод было до трехсот, лошади и волы которых явно были обречены на голодную смерть.

Приведенные в отчаяние фурщики и крестьяне возбужденной толпой ходили по разным начальникам, добиваясь выпуска из города. Назревала угроза бунта. Наконец городскому начальству удалось уломать Херхеулидзева, и он разрешил выпустить подводы из города, объявив, что „строгий карантинный термин" начинается не с 17, а с 18 июня.

Это внезапное строгое оцепление, для которого не было никаких объективных оснований, крайне ухудшало положение всего населения города, кроме известной его части, для которой оно, наоборот, сулило целый ряд благ. Это были прежде всего чиновники, обязанности которых состояли в наблюдении за карантинными мероприятиями, и карантинные врачи. С введением „строгого карантинного термина" начиналась выплата суточных. Так получали суточные: инспектор карантина и главный врач—по 10 руб., полицмейстер—10 руб., временный полицмейстер—7 р. 50 к., 4 адъютанта генерал-губернатора и флотского начальника—по 5 руб., комиссары карантина—по 5 руб., временные комиссары по городу—по 5 руб., помощники главного карантинного врача—по 5 руб., 9 участковых врачей—по 2 р. 50 к., окурщики хлором—по 2 р. 50 к. и т. д.

---

[1] Лоция. Архив народного хозяйства. Фонд адм. Грейга, д. № 20, приказ по флоту № 130.

Всего в сутки по городу выплачивалось 170 рублей, по тогдашним ценам довольно значительная сумма. Фактическое же отсутствие чумы не подвергало чиновников никакой опасности.

Для лиц этой категории „чума" была в полном смысле слова доходным делом.

Не менее доходным был „строгий карантинный термин" для полицейских и карантинных чиновников, работавших на заставах, чрез которые происходил пропуск людей и продуктов. Здесь брались взятки с перекупщиков и крестьян, которые рисковали привозить продукты в оцепленный город. Весьма большие заработки сулил „строгий карантинный термин" для всевозможных спекулянтов — купцов, комиссионеров, подрядчиков и пр. При содействии полиции и карантинных чиновников они перехватывали возы с продуктами у застав и затем перепродавали из своих магазинов втридорога.

Внезапность оцепления лишила возможности жителей города сделать хоть какие-нибудь запасы, и им приходилось все покупать у перекупщиков и спекулянтов. Не без умысла под привозимые в город продукты полицией было отведено на Северной стороне болотистое место, при малейшем дожде превращавшееся в непролазное болото. Крестьянину, чтобы не мучить своих лошадей и самому не тонуть в болотной грязи, приходилось со значительной уступкой отдавать оптом продукты скупщикам.

Тяжелее всего отразилось строгое оцепление на жителях Корабельной и Артиллерийской слободок, населенных беднотой, для которых, как мы сказали выше, сельскохозяйственные летние работы служили главным источником, обеспечивавшим им зимнее существование. С момента введения „строгого карантинного термина" эта возможность отпадала, и впереди возникал призрак холодной и голодной зимы. А вместе с тем резкое возвышение цен на все продукты сильно понижало и без того их низкую покупательную способность. Те, кто владел за городом небольшим огородом, лишились их. Те, кто имел более или менее постоянную поденную работу в загородных хуторах, потеряли ее. Между тем, город оставался совершенно благополучным в отношении болезней. Вплоть до 23 августа, т. е. более двух месяцев со времени введения „строгого карантинного термина" в Севастополе не было ни одного подозрительного заболевания. Лишь 23 августа на одном из кораблей, шедших в Севастополь, умерло 4 матроса, причем, как удостоверили корабельные врачи, не от чумы, а от других болезней, которых было много во флоте, как цынга, тиф и др.

Однако самого факта четырех смертей было вполне достаточно для Херхеулидзева, чтобы еще более усилить карантинные строгости и еще ближе придвинуть к городу карантинное оцепление.

Этим наносился новый удар жителям слободок, так как с приближением к городу карантинного оцепления прекращалась возможность выпаса скота за городом, в самом же городе совершенно не было ни выгонов, ни водопоев. Богатые владельцы коров—офицеры, чиновники и др.—могли покупать себе привозной корм, но для бедных жителей слободок это было совершенно не под силу. Оставалось только распродавать свой скот, что и случилось в конце концов. „Цена на все потребности удвоилась и утроилась,— свидетельствует Грейг,— скотина, коровы, козы и пр., будучи без корму и питья и без выгона за цепь, подохли или проданы за безделицу мясникам, сохранявшим свои выгоды и в смутные времена“ [1].

Бедственным, безвыходным положением бедноты в полной мере воспользовались городские спекулянты, которые, скупая у населения забесценок скот, чтобы не спускать рыночных цен на мясо,— заготовляли его впрок в виде солонины, рассчитывая нажить еще большие барыши при наступлении зимы.

Само-собой напрашивается мысль, что эта новая бессмысленная и жестокая мера была предпринята в интересах спекулянтов.

Призрак голода все ближе надвигался на необеспеченную часть городского населения, а никакой чумы в Севастополе попрежнему не было.

Так, уже спустя целых $4^1/_2$ месяца после начала строгого оцепления, контр-адмирал Сальти доносил по начальству, что „г. Севастополь состоит благополучным“.

10 ноября Грейг писал кн. Меньшикову, что, возвратившись в Севастополь, он „нашел порт сей в совершенно благополучном состоянии... Приняты все меры к оцеплению мест, где помещаются больные, свозимые с судов, и к отделению судов сомнительных, и следственно если бы и открылась зараза, то ни коим образом не может распространиться вне мест тех судов“ [2].

Интересно, что из 6 человек, содержавшихся в средине ноября 1829 г. в карантине в качестве „подозрительных по чуме“, трое находились здесь целых два месяца, тогда как инкубационный период чумы составляет всего лишь несколько дней!

---

[1] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[2] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20.

Для помещения „сомнительных по чуме“ было отведено специальное карантинное помещение на Павловском мыске. Как военный карантин близ Херсонеса, так и этот чумный карантин были совершенно не приспособлены и не соответствовали своему назначению.

Большинство выдерживавших карантинный срок в военном карантине размещалось прямо на воздухе или в сырых пещерах, вырытых в скалистых обрывах берега. Даже знатные иностранцы и чиновники с трудом находили для себя помещение под крышей. Вот как описывает свое пребывание в этом карантине один иностранный путешественник, повидимому, состоявший в то время на русской службе. „Постройки и организации карантина в этом порту (Севастополь) были далеки от тех удобств и прекрасного устройства, которые были в Одессе. Получив две маленькие комнатки на 6 человек, мы были чрезвычайно счастливы, что не пришлось ночевать на воздухе или искать убежища в многочисленных пещерах, которыми были испещрены скалы на берегу карантина... Один комиссионер снабжал лазарет всем необходимым для жизни. Единственно вода была нехорошего качества, хлеб был довольно плохой и часто нехватало дров для отопления, которые были к тому же очень дороги“ [1].

Чумный карантин на Павловском мыске был еще хуже. Он совершенно не был пригоден для принятия больных и заподозренных в чуме. Не было вовсе приспособленных под жилье помещений, не было кроватей и прочего оборудования, нехватало посуды, белья и медикаментов. Благодаря этому часть матросов, подлежавших выдержке в карантине, размещали на корабле, который также совершенно для этого не был приспособлен. Так, например, по словам д-ра Закревского „80 человек больных нижних чинов команды фрегата „Эривань“, большею частью тяжело больные, свезены были на фрегат „Скорый“, нарочно назначенный под временный госпиталь; на нем ничего не было надлежаще устроено: порты хотя и были задраены, но печек вовсе поставлено не было; по числу больных недоставало ни тюфяков, ни одеял, ни теплых халатов... Необходимой посуды, перевязочных материалов и припасов не отпускали. Вследствие же сей неурядицы было то, что в течение одной недели—не более из 80 человек больных, брошенных на фрегате „Скором“, умерло 60 человек—остальные взяты потом в госпиталь“ [2].

В таких безобразных условиях содержались матросы, больные тифом, цынгой и другими болезнями, ничего

[1] Relation d'un voyage en Rumélie. Paris, 1834, page 133, перевод автора.

[2] Н. Закревский. Цитир. соч., гл. I, стр. 93.

общего с чумой не имевшими. Благодаря этому смертность среди них была гораздо выше, чем среди тех, которые были признаны чумными, но на самом деле были больны другими менее тяжелыми болезнями.

Но о матросах на корабле все же хоть сколько-нибудь заботились корабельные доктора. Лица же, помещавшиеся на Павловском мыске, были совершенно всеми заброшены. И условия пребывания здесь были во много раз хуже. Вот как описывает доктор Закревский офицерское помещение, в котором ему самому пришлось выдерживать карантин: „На Павловском мыске (22/XII 1829 г.) казарма просторная, человек на двести или больше, а в казарме одна хлебопекарная или артельная печь; окон в казарме было 10, по пяти на сторону, но зато ни одного окна исправного, а в некоторых так и вовсе рам не было... К сумеркам задул от норд-оста ветерок, стало холодновато, к ночи ветер скрепчал—в открытые окна с одной стороны врывался, а в противоположные вылетал; ночью с порывами ветра снег и метель проносились через казарму, заколачивать окна было некому, да и нечем, свечей хоть не зажигай, гаснут от ветра, всю ночь напролет больные дрогли и зябли, прижавшись кое-как под стенкой с подветреной стороны... Дров у нас не было ни полена... Чай и сахар у многих больных был и самовар нашелся, да воды не было ни капли и хлеба ни у кого ни куска, а купить было негде—мы по карантинному положению были оцеплены“ [1].

Если в таких условиях содержались офицеры, то можно себе представить, каковы были помещения для „простого звания людей“ в чумном карантине. Флотский начальник Сальти в рапорте своем от 27 сентября 1829 г. доносил по начальству, что „больные помещаются в сырых и смрадных пещерах“ [2]. О безобразных условиях размещения больных и „сомнительных“ был официально поставлен в известность граф Воронцов 30 сентября 1829 г.: „Люди, признанные сомнительными, забираются в карантин и по неимению удобных строений помещаются в сараях, не имеющих ни полов, ни потолков, ни окон, ни печей, через что причиняется в позднее осеннее время вред здоровью людей и без того больных“ [3]. Однако Воронцов на такие „мелочи“ вовсе не реагировал, и условия помещаемых в карантин не были улучшены, а с наступлением зимы еще более ухудшились.

---

[1] Н. Закревский. Цитир. соч., глава 1, стр. 92.
[2] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[3] Там же.

Обращение с больными было самое варварское. Так, мы имеем официальное свидетельство, что „больных из морского госпиталя (заподозренных в чуме) отправляли на Павловский мысок безо всякого рассмотрения и сострадания к человечеству в сильные морозы в одних халатах и туфлях, и некоторые от страха и холода умирали по дороге и на месте“[1].

Вообще карантинные порядки вызывали ужас у населения, и нисколько не парадоксальным будет утверждение, что карантин для жителей Севастополя был страшнее чумы, что подтверждает адм. Грейг, который в своих замечаниях к делу о восстании пишет: „Павловский мыс казался для людей могилой“[2].

„Кроме мертвых тел сюда же в чумное отделение под вооруженной стражей привозились целые семейства, постигнутые злополучием через смерть кого-либо из их сочленов“[3].

Самый срок пребывания в карантине зависел, главным образом, от усмотрения карантинного начальства. Вместо нормального срока в 21—25 дней встречались часто случаи, когда „сомнительных“ держали по два месяца и больше. Так одна женщина показывала на следствии, что мужа ее продержали в карантине целых 140 дней[4].

Полагалось в карантин отправлять только чумных и сомнительных по чуме. Но так как наличие чумы в городе фактически не удавалось установить до начала января 1830 г. даже самым рьяным сторонникам мнения, что она существует, то все внимание было обращено на „сомнительных,“ которыми признавались все вообще чем-либо заболевшие. Между тем, до самого декабря, после смерти 4 матросов во время плавания, не признанных морскими врачами за чумных, был только один случай смерти на корабле „Император Франц Иосиф“. Здесь 7 сентября из 9 заболевших матросов умерло 6 человек, относительно которых не только морские врачи, но и медицинский инспектор удостоверил, что, „это была не чума“.

Но целому ряду лиц в городе, о которых мы говорили выше, было выгодно доказать наличие в Севастополе чумы. Вот почему, как доносил контр-адмирал Сальти 27 сентября 1829 г., „Карантинная контора, или лучше сказать член ее штаб-лекарь Валявский, усиливается и обыкновенные болезни показать чумными, а прочие медики по неопытности страшатся решительно оспаривать,

---

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.

[2] Там же.

[3] Закревский. Цитир. соч., гл. II, стр. 289.

[4] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. командиров, д. № 90, военно-судное.

исключая Радецкого (медицинский инспектор) и других морского ведомства медиков, доказавших противно тому"[1]. А адм. Грейг пишет: „В течение пяти месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни заболел в командах или на дому— объявлялись за чуму"[2].

К декабрю с наступлением зимних холодов заболеваемость разными болезнями в связи с отсутствием у беднейшего населения топлива и недостаточностью питания начала увеличиваться, что повлекло за собою увеличение числа отправляемых в карантин „сомнительных". Ужасные условия пребывания в карантине в зимнее время способствовали увеличению смертности среди заключенных в нем. Это в свою очередь дало повод карантинному начальству утверждать, что чума существует в городе. Чтобы добиться признания чумы официально, был созван 1 декабря 1829 г. специальный Медицинский совет из пятнадцати авторитетных врачей. Однако ожидания карантинных чиновников не оправдались, так как Совет категорически и единогласно отверг существование в городе чумы. Более того, он прямо удостоверил, что высокая смертность, которая начала наблюдаться в карантине, зависела только от варварских условий, в которых больные содержались. Совет в своем протокольном постановлении говорит: „Из нас многие служили на кораблях и, видя больных с подобными знаками излечиваемых, рассуждали о сей болезни из опытов, а не по виду, устрашающему одним предубеждением о чуме, и все мы по долгу службы, присяги и самой ответственности нашей доказывали в присутствии гражданского губернатора и докторов, что таковые явления знаков на больных людях ныне и прежде свидетельствованных, не есть чумные, не имеющие даже особой прилипчивости, свойственной многим болезням, а также скоротечности смерти. Но если в карантине и замечена оная (смерть), то это происходит от содержания сих страдальцев в нынешнее зимнее время, в холодном и сыром сарае, где истинно не только немощный, но и самый здоровый подвергнется неминуемой смерти. Из нас многие доказывали нечумное состояние больных готовностью своею ныне же сообщиться с так называемыми чумными и пользовать с надеждой на избавление от настоящих

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[2] Там же.

болезней, но с тем, чтобы страдальцы сии переведены были из сарая, холодного и сырого в теплые и сухие покои"[1].

Однако карантинному начальству менее всего желательно было уменьшение смертности в карантине и создание надлежащих условий для лечения больных, так как это могло убедить Воронцова в отсутствии чумы и лишить их всех благ, связанных со „строгим карантинным термином". Вот почему единственным ответом на предложение Медицинского совета было полное запрещение морским и другим не карантинным врачам посещать карантин, о чем сообщает своему начальству Сальти.

Надо было иметь не мало мужества врачам-чиновникам, чтобы вопреки мнению не только высших гражданских и военных властей, но и главного медицинского военного и морского начальства, выступить со столь резким отрицанием существования чумы и с критикой безобразного содержания больных в карантине. Обращение с больными в карантине было столь бесчеловечным, что даже врачи, из которых многие ранее служили во флоте и привыкли видеть жестокое обращение с матросами, не смогли промолчать о нем.

Однако и это вполне объективное и авторитетное мнение Медицинского совета нисколько не смутило ни местное карантинное начальство, ни самого Воронцова, которому оно не могло остаться неизвестным.

Единственное, что соблаговолил предпринять Воронцов для облегчения участи находившейся в бедственном состоянии наименее обеспеченной части населения Севастополя, это предписание гражданскому губернатору Таврической губернии Казначееву озаботиться о снабжении города. Сальти еще в конце сентября доносил (рапорт 27/IX 1829 г. № 3715), что „Севастопольские жители, а особливо беднейший класс людей, остаются на зимнее время без всяких запасов, особливо без дров, которых и в покупку отыскать невозможно", и он „от сих недостатков *опасается* каких-либо *непредвиденных последствий* (курсив подлинника.—*А. П.*), ежели не будет запасных от казны дров и хлеба"[2].

Но лишь 2 декабря Воронцов удосужился сообщить губернатору Казначееву: „*если имеется нужда*— пособить Севастополю дровами за справедливую плату", в случае

---

[1] Хартахай. Женский бунт в Севастополе. Журнал „Современник" 1861 г. № 10, стр. 369.

[2] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд. адм Грейга, д. № 22. Всюду в работе курсив автора. Курсив подлинника каждый раз особо оговаривается.

Гос. Публичная

же недостатка в хлебе разрешал „заимствовать оный для *совершенно нуждающихся* (курсив оригинала.—*А. П.*) в местных провиантских магазинах или Феодосии и Евпатории“[1].

Однако губернатор Казначеев рапортом от 9 декабря 1829 г. № 8734 сделал возражения против необходимости оказывать какую бы то ни было помощь жителям Севастополя, утверждая, что „город со времени учреждения карантинной линии никогда не терпел и не терпит такой крайности“. Причем, однако, не отрицал „возвышения цен от ранней зимы и дурных дорог“[2].

---

[1] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22. Всюду в работе курсив автора. Курсив подлинника каждый раз особо оговаривается.

[2] Там же.

ГЛАВА IV

Новый 1830 год принес еще большие бедствия для жителей Севастополя, в особенности для населения слободок. В начале января последовал ряд новых назначений начальствующих лиц, которыми успешно воспользовались все те, в чьих интересах было доказать наличие чумы.

В первой половине января прибыл новый военный генерал-губернатор Севастополя генерал-адъютант Сталыпин, дряхлый, безвольный и бездеятельный старик, который вскоре оказался всецело в руках своих приближенных. Сам никуда не выходя из дому, во всем доверяя своим адъютантам и высшим карантинным начальникам, он охотно подписывал все подсовываемые ему приказы и распоряжения. Это было вполне на руку всем заинтересованным в наличии „чумы", группа которых к этому времени увеличилась двумя весьма энергичными и беззастенчивыми лицами—вновь назначенным на должность председателя комиссии по погашению чумы доктором Лангом и его ближайшим помощником штаб-лекарем Верболозовым, которому, согласно его собственного утверждения, первому принадлежит „заслуга" открытия в Севастополе чумы. В своих показаниях на следствии по делу о восстании Верболозов с циничной гордостью заявляет: „Обязанности осматривать больных от комитета по предохранительным мерам исполнял почти один я по недостатку медиков. Во всех частях города я первый открыл чумных больных как в самом городе, так и в новой Артиллерийской слободке, от сего то породилась молва, что я завел чуму, один только ее открываю" [1].

Это заявление доктора Верболозова, который был одним из главнейших и авторитетнейших в глазах начальства чумных деятелей, весьма интересно в том отношении, что им также отрицается существование чумы до января 1830 г. Верболозов прямо утверждает, что чума была впервые обнаружена в Севастополе именно им среди больных, присланных из морского госпиталя и

---

[1] Лоциа. Военно-истор. архив Фонд корп. ком., д. № 75 военно судное

блокшифа 7 января 1830 г. на Павловский мысок. Была ли это чума или нет,—мы остановимся на этом вопросе несколько ниже.

С января месяца заболеваемость и смертность в городе значительно увеличились, что склонило к признанию чумы Сальти и медицинского инспектора Радецкого, ранее отрицавших ее наличие. Однако увеличению смертности именно и способствовали безобразные мероприятия врачей Ланга, Верболозова и Шрамкова, захвативших всю власть по борьбе с „чумой" в свои руки.

Прежде всего без всяких доказательств было признано „неточным и неудовлетворительным" (?!) приведенное выше постановление Медицинского совета. Был созван новый совет, которому предложили без рассуждений признать существование чумы и принимать против нее меры, указанные высшим медицинским начальством [1].

Эта тройка—Ланг, Верболозов, Шрамков—позаботилась прежде всего оставить за собой монопольное право на определение чумных больных. В специально составленной инструкции для участкового врача недвусмысленно указано: „п. 4 д) если заметите в заболевшем явственные или даже сомнительные признаки ненормального, болезненного состояния, то немедленно извещайте о сем д-ра Ланга... б) Над трупом умершего, ни под каким предлогом, для личной вашей безопасности, вы осмотра производить не должны, а немедленно о сем письменно или словесно извещайте доктора Ланга" [2].

Таким образом только один Ланг и его два помощника, да еще доктор Валявский, „самоотверженно" подвергали себя „опасности" и возились с живыми и мертвыми чумными, не допуская к ним других врачей.

Постоянное ежедневное общение с больными и мертвыми, признаваемыми Лангом чумными, закончилось для всех принимавших участие, как и следовало ожидать, совершенно благополучно, что является, пожалуй, единственным примером в истории чумных эпидемий!

Мало того, ежедневно общаясь с так называемыми, чумными и являясь таким образом, казалось бы, носителями заразы,—компания эта каждый день преспокойно встречалась со всеми начальствующими лицами города, пила послеобеденный чай у Сталыпина и т. д. без всяких последствий для этих лиц.

Между тем только факт проживания в одном дворе не с больным, а лишь с сомнительным, влек

---

[1] Хартахай. Цитир. соч., стр. 370.

[2] Н. Закревский. Записки врача морской службы, стр. 292.

помещение всех в карантине. Это одно вполне убедительно показывает, что эта была за „чума".

Первым признаком чумы, как отлично понимал доктор Ланг и его помощники, была высокая смертность, без которой ее наличие было трудно доказать. О поднятии смертности среди заболевших, по утверждению Сальти, „заботился" и раньше кое-кто из карантинных врачей, которые „больных лечили совершенно несообразными болезни средствами. Так, например, изнуренному поносом давались лекарства от нервной горячки; средства эти раздражали и еще более усиливали понос. Мнимо зачумленному, кроме рожистовоспаленной опухоли ничего не имевшему, прикладываема была мазь из свиного сала с едкой соляной кислотой, производившею пятна антонова огня" [1].

Но эти, так сказать, „кустарные" способы далеко отстали от тех „научных" методов, какие стали применять в своем лечении Ланг, Верболозов и Шрамков. Так Лангом было отдано в средине января распоряжение, чтобы всех больных купали в бухте. Вскоре последовало распоряжение эту меру, уже в качестве „профилактической", применять ко всем „сомнительным", а затем и ко всем вообще здоровым жителям слободок, которых всех без исключения сгоняли купаться в бухту, а слабых обливали холодной водой дома с примесью какого-то снадобья. Надо иметь в виду, что эта мера начала применяться в самые холодные месяцы с половины января и повторялась периодически по три-четыре раза в месяц вплоть до мая. Между тем, по свидетельству современников событий, зима в том году была особенно ранней и суровой.

Это новое „противочумное мероприятие" дало весьма быстрые и эффективные результаты в виде резко повысившегося числа заболеваний со смертным исходом.

Кондораки, который сам относится резко отрицательно к восстанию, прямо утверждает, что „смертных случаев было немного до тех пор, как прикомандированный в Севастополь доктор Ланг не придумал купать в море всех заболевших и подвергать их неизлечимым горячкам" [2].

Поднятие смертности явилось новым доказательством существования чумы. Целый ряд женщин так показывали на следствии об этом способе „лечения": „Во время холода и жестоких ветров нас насильно гоняли купаться в холодной воде, что причиняло ужасную головную боль и озноб. А дома принуждали окачиваться также водой,

---

[1] Хартахай. Цитир. соч., стр. 372.
[2] Кондораки. Цитир. соч.

в которой мортусы[1] распускали зелье, имевшее вид белой муки, от которой тело покрывалось чешуей и болело жестоко"[2]. Другая женщина показывала: „На третьей неделе после родов обливали в холодном месте в феврале водой с порошком, после чего я заболела жестокою болезнью и лежала 4 недели, и теперь ломит всю"[3]. „Мой муж,—показывает третья женщина,—выдержал 140 дней разных карантинов по болезни, но остался еще жив, хотя его вместе с прочими нижними чинами бесчеловечным образом насильственно купали во время самой зимы в холодной морской воде"[4].

Эти взятые на выдержку показания дают чрезвычайно яркую картину, как жестоко и в полном смысле бесчеловечно применялась эта нелепая, губительная для здоровья, „профилактическая" мера ко всем вообще больным, а также всем без исключения жителям Корабельной слободки и нижним чинам, которые явились жертвой этого бессмысленного „противочумного мероприятия". Об этом же имеется официальное свидетельство в „изложении о ходе событий", где говорится, что „лекаря среди зимы раздевали донага женщин и заставляли купаться в море, отчего многие умирали, других раздевали во время женских болезней"[5].

Для тех, кто связывал свое благополучие с наличием в городе чумы, такие мероприятия были во всяком случае наруку. В самом деле, знакомство со статистическими данными о заболеваниях в г. Севастополе за это время показывает, что смертность сильно поднялась. По ведомости медицинского инспектора Радецкого и председателя продовольственной комиссии Потаниоти движение заболеваемости и смертности в январе—начале февраля 1830 г., т. е. в момент наибольшего их развития, представляется в следующем виде (см. таблицу на стр. 39)[6].

Эта таблица со всей очевидностью показывает, что возрастание заболеваемости и смертности как раз совпадает со временем, когда начали применять купанье в бухте.

Однако эти же цифры заставляют усумниться в том, чтобы в Севастополе вообще была чума. В самом деле, современные медицинские данные представляют нам чуму, как одну из самых ужасных эпидемий, при которой обыч-

[1] Мортусами (по-латыни—смертник) назывались уголовные каторжники, добровольно за вознаграждение исполнявшие во время чумы обязанности санитаров.

[2] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 90, военно-судное.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20.

[6] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20.

ная смертность среди заболевших легочной чумой составляет 100%, а бубонной—60—70%. Общение с больными вызывает при чуме почти неизбежное заражение, почему весьма большой процент смертности при чуме падает на медицинский персонал.

	Всего сомнительных	Из них умерло	Выздоровело
с 8 по 11 января . . .	23	12	11
с 11 по 15 „	36	8	28
с 15 по 18 „	31	4	27
с 18 по 22 „	29	2	27
с 24 по 28 „	61	27	34
с 28 по 31 „	65	33	32
с 31 по 4 февраля . .	62	24	38
	307	110	197

Что же мы видим в Севастополе? Из общего количества 307 человек, заболевших в течение месяца, выздоравливает 197 человек, т. е. 60%. Из 308 матросов, заболевших за все время оцепления и помещенных в морской госпиталь, умерло 89, т. е. 27%. Картина, совершенно исключающая наличие действительной чумы. Особенно если мы вспомним те ужасные условия, в которых содержались и больные и все вообще сомнительные и здоровые, выдерживавшие карантин, что констатировано в протоколе Медицинского совета и описано Грейгом, Сальти, доктором Закревским и безымянным иностранцем. Будет правильнее всего предположить, что смертность стояла в самой тесной зависимости от условий содержания больных и методов их „лечения".

Если бы в городе действительно была чумная эпидемия, то она неизбежно должна была бы вспыхнуть с новой силой после того, как тысячи жителей на другой день после восстания (4 июня) целовали один и тот же крест на молебне у собора.

Точно так же обошлось без всяких последствий скопление народа, сгоняемого 11 августа 1830 г. на места казни, в то время как тогда вновь существовало „всеобщее оцепление" в связи с новым развитием эпидемии.

Такое огромное скопление народа при действительном существовании чумы повлекло бы за собой колоссальный рост смертности.

Во время „всеобщего оцепления", произведенного якобы для полного разобщения населения,—на самом деле

нормально работали все правительственные учреждения, шли, как обычно, занятия во флотских экипажах, производились работы в Адмиралтействе, причем здесь во время килевания корабля в одном месте находилось до тысячи человек.

А между тем именно скопление людей является первым условием сильнейшего распространения чумной заразы. Не даром же первой мерой, к которой всегда прибегали и прибегают во время чумных эпидемий,—полная изоляция очагов чумных заболеваний и возможно полная разобщенность населения в местах появления эпидемии.

Между тем в Севастополе разобщению подвергнуты были только „простые люди", а привилегированных слоев оно не коснулось, о чем прямо говорит Грейг в официальной бумаге на имя Главного морского штаба. Грейг пишет: „Чернь могла заключить, что карантинная форма только форма, т. е. тягость ее облегчалась по степеням чинов и падала со всею силою долговременного угнетения на одних низшего класса людей, не имеющего голоса" [1].

Трудно более четко и ясно формулировать сущность всех карантинных мероприятий, которые по существу своему служили лишь интересам спекуляции и наживы, прикрытием которых и являлась эта пресловутая „карманная чума"—по меткому определению матросов.

Помимо Грейга, целый ряд лиц из „благородных" категорически отрицали наличие чумы в городе, говоря об этом совершенно открыто. Об этом сообщает адъютант ген.-губернатора Сталыпина поручик Орлай в своих показаниях на следствии: „Против чумы говорили все и даже высшие начальники, например, контр-адмирал Кумани, который уверял Сталыпина—„что чумы в городе нет и не было" [2]. То же самое показывает и доктор Верболозов: „При самом вступлении в город (январь 1830 г.—*А. П.*) я нашел умы настроенными против предохранительных мер и уверенность в несуществовании чумы, и не только слышал противоречия и ругательства, проклятия от простолюдинов, но от людей высшего звания даже в самом присутствии Комитета по предохранительным мерам" [3].

Еще более определенно показывает правитель дел Севастопольского медицинского совета Сенюшкин: „Некоторые флотские штаб- и обер-офицеры называли чуму выдуманною, карманною и т. п. Капитан первого ранга

---

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. команд., д. 75, военно-судное.

[2] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 79.

[3] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 75, военно-судное.

Папахристо в присутствии хозяйственной комиссии с большим азартом кричал Верболозову, что якобы сей последний ложную находит в городе чуму и единственно в угождение доктора Ланга. Лейтенант Михайло Бардака сказал: „не вечно будут держать нас в оцеплении, когда-нибудь да освободят и разве не приедет ваш губернатор Казначеев, каменьями забьем его. Ему хотелось, чтобы в Севастополе была чума“ [1].

Надо заметить, что как раз и инспектор Таврической врачебной управы Ланг и Верболозов были назначены губернатором Казначеевым.

Наконец, мы имеем и опубликованное в печати мнение по этому вопросу не раз цитированного нами доктора Закревского, который сам заведывал одно время противочумными мероприятиями в Корабельной слободке под непосредственным начальством Ланга.

Вот что пишет Закревский: „7 апреля один из дозорных пришел объявить мне, что у него неблагополучно—умер скоропостижно отставной матрос. Я знал этого матроса. Ему было за 55 лет от роду; он имел одышку и покашливал—может быть вследствие порядочных дач линьками в спину, а может быть и от других причин. Явственно и несомненно, что тут apoplexia sanguinea и ничего больше.

Доктор Ланг, обратясь к Макарову, преспокойно сказал ему, чтобы труп умершего теперь же отправить по принадлежности в чумное отделение, а вслед за трупом и несчастных, лишившихся главы семейства. У меня кровь бросилась в лицо, дыханье сперлось, и поспешил выбежать из избы. Простояв несколько минут, я было успокоился, но вот вопли коснулись моего слуха, я вздрогнул, с воплями слились крик собачонки и визг поросенка, раздались тяжелые удары, под которыми и крик собачонки и визг поросенка через минуту умолкли“ [2].

Этот совершенно беспристрастный рассказ очевидца в немногих словах лучше всего передает и картину полного произвола карантинных врачей, и бесправия населения, и „методы“ нахождения чумы, и способы побочных доходов мортусов в виде убитого поросенка.

Рассматривая вопрос, была ли на самом деле в Севастополе чума, доктор Закревский приходит к отрицательному выводу. „Эту самую болезнь, признаваемую за чуму, можно было отнести так же к ожесточенной полу-трехдневной дакийской горячке (Hemitritacum Daciae). Последнего мнения придерживались многие из морских медиков“ [3].

---

[1] Там же.
[2] Н. Закревский. Цит. соч. гл. II, стр. 306.
[3] Н. Закревский. Цитир. соч. гл. II, стр. 290.

Согласно весьма авторитетному отзыву одного из лучших наших специалистов по чуме проф. С. М. Щастного, ознакомившегося в рукописи с данными о севастопольской „чуме",—картина соотношения между заболеваемостью и смертностью (особенно принимая во внимание ужасные условия, в каких находились больные в карантине, и зимние купания) почти совершенно исключает возможность наличия чумы, за которую вообще в начале XIX в. зачастую принимали многие другие болезни. Если бы в Севастополе была чума, то при условиях содержания больных и купания их в бухте—она неизбежно приняла бы форму легочной чумы и действительно скосила весь город. Наконец, мы вовсе не находим упоминания о севастопольской чуме в специальной литературе по истории чумных заболеваний, в которой вместе с тем имеются указания на чуму 1827-29 г. в Румынии, Бессарабии и Одессе [1].

Все это вместе взятое приводит к выводу, что никакой чумной эпидемии на самом деле в Севастополе не было. Могло быть лишь несколько единичных случаев бубонной чумы, не давших распространения. Были же всевозможные заболевания, как-то—тиф, рожистое воспаление, очень тогда распространенное в Севастополе, воспаление легких и пр., развитию которых способствовали карантинные условия и зимние купанья в бухте и которые огульно принимались за чуму. Выходит, что чуму действительно „выдумали" те, в чьих интересах было длительное существование „строгого карантинного термина" и „всеобщего оцепления", влекших за собой для одних повышенные суточные и награды, для других—огромные прибыли от продовольственных спекуляций, для третьих—не меньшие доходы от злоупотреблений, связанных с раздачей жителям казенных пайков, для четвертых—всякие побочные доходы, связанные с осмотром привозимых в город продуктов, уничтожением „зараженных" вещей и т. д. Чумными признавались все решительно заболевания и смерти, от чего бы они ни происходили, как об этом свидетельствует ряд официальных лиц, не заинтересованных в чуме, что легко было делать при указанном нами выше монопольном праве осмотра больных и умерших тремя врачами.

Если бы чума действительно имела место в Севастополе, то было бы совершенно непонятно, почему наличие ее отрицали многие высшие офицеры и чиновники и большинство врачей. Ведь в действительности чума является страшным бедствием, от заражения которой никто

---

[1] Проф. Т. Ф. Вогралик. Учение об эпидемич. заболеваниях, ч I, стр. 119. Томск, 1935 г.

не гарантирован и заболевание которой в огромном большинстве случаев при состоянии медицины в то время влекло за собой смерть.

Карантинные строгости, сами по себе чрезвычайно тяжелые, для „простого звания людей“ сопровождались самым издевательским отношением и безграничными злоупотреблениями, особенно после приезда в город нового генерал-губернатора Сталыпина. При нем власть фактически находилась в руках его приближенных—генерала Примо, инспектора карантина полковника Стулли, Ланга, чиновника особых поручений Семенова, адъютантов и пр., которые и пользовались ею в своих интересах до наглости откровенно.

Если с чиновничеством и разночинцами еще церемонились, то с жителями слободок и Хребта обращались, буквально, как со скотом. Все делалось, чтоб их окончательно запугать и обезволить.

Самый способ доставки в карантин больных и „сомнительных“ должен был возбуждать ужас у населения. Врачи обходили дома обычно в сопровождении санитаров-мортусов, которые с ног до головы были зашиты в черную кожаную одежду, облитую дегтем, с капюшонами на голове. В руках они имели длинные палки с крючьями на концах. Этими крючьями подавали в карантине пищу „чумным“. Ими же тащили в карантин тех, кто не хотел итти добровольно. Ходили они обычно по два, по четыре человека. Это были самые отчаянные из уголовных каторжников, присужденных на долгие сроки заключения. Труд мортусов, считавшийся вообще во время действительных чумных эпидемий чрезвычайно опасным, в условиях севастопольской „чумы“ был совершенно безопасен, и помимо вознаграждения от казны приносил и другие немалые побочные доходы. Кое-кто из мортусов зарабатывал также, занимаясь в компании с некоторыми из фельдшеров или же на свой собственный риск, „лечением“ больных, признанных чумными. Следственная комиссия, организованная адм. Грейгом, установила на основе свидетельских показаний и собственного признания одного из мортусов по прозвищу „Колдун“, что благодаря его „лечению“ было отправлено на тот свет целых восемьдесят человек больных, что увеличило на эту цифру статистику „чумной“ смертности.

Мортус этот объяснил, что у него было два зелья. Одно он давал явно безнадежным, с его точки зрения, больным, чтобы облегчить им предсмертные страдания, а другое—для выздоровления. Причем от второго „одни

умирали, а другие выздоравливали". Судя по описаниям этих зелий они очень напоминают серную кислоту, которая употреблялась при окуривании „сомнительных" домов.

Уже один вид этих черных фигур в облитых смолой черных кожаных костюмах с длинными крючьями внушал многим суеверный ужас, напоминая знакомые картины с чертями.

Обращение мортусов с больными было самое жестокое, о чем конечно знало карантинное начальство. Об этом мы имеем много свидетельств, собранных следственной комиссией. „Некоторых женщин,—говорится в цитированном уже нами официальном изложении хода событий,—умерших от родов, но признанных чумными, мортусы таскали через город в самом позорном положении, не омытых от кровей и почти нагих, привязанных за голову и ноги к водоносу, держа за ноги нагих мертворожденных младенцев. Мортусы, будучи пьяны, роняли их в грязь и вывозили тела умерших людей на одной телеге с дохлыми собаками"[1].

Адм. Грейг говорит, что „мертвые тела приказывали мортусам переносить в безобразном виде на дрючках"[2].

С приездом доктора Ланга были введены систематические осмотры всех жителей слободок, причем и эта мера была превращена в издевательство над жителями: осмотр производили лично доктора Ланг, Верболозов, Шрамков и Валявский, причем женщин обыкновенно раздевали донага, а с молодыми производили всякие непристойности.

Так, адм. Грейг удостоверяет, что „при осмотре женщин в нагом виде, не чрез бабок, делаемы им были разные неблагопристойности"[3]. Молодая женщина Марфа Максимова показывала на следствии: „Медицинские чиновники Шрамков и Заровный шесть раз раздевали меня донага под предлогом осмотра, насильственно нагую принуждали раздвигать ноги, делали оскорбительные насмешки, били даже тросточками по голому телу, тыкая в груди[4].

Аналогичное описание мы находим у Закревского.

„...Умерла женщина. Я ее знал. Во всякое другое благополучное время смерть этой женщины с первого же взгляда следовало отнести к причинам внутреннего кровоизлияния.

---

[1] Лоциа. Архив. Нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20.

[2] Там же.

[3] Там же, д. № 22, замечания адм. Грейга на заключение комиссии ген. Тимофеева.

[4] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 90 военно-судное.

Во время производившегося над трупом умершей осмотра тут же в комнате стояла молодая и красивая женщина... Мы, четыре врача и пятый не врач (Макаров) остались для осмотра женщины. Живая женщина через минуту предстала перед нами как Магдалина—чиста, свежа и стройна до совершенства...

Спрашивать, казалось, не об чем больше, а нашлось:

— Отчего у тебя вот это пятнышко под левой грудью?

— Это так—ничего, должно быть чем-нибудь оцарапала.

Доктор подошел поближе, чтоб приглядеться к пятнышку—погладил и потрепал по округлому плечику...

— Видишь ли, ты не чумная, я до тебя дотронулся,— говорит доктор,—значит тебе опасаться нечего.

Женщина вместо ответа взглянула на доктора и улыбнулась, но в этой лукавой улыбке так ясно выразилось—„ах, ты, старый хрыч!..“

При этом неблагополучном случае ничего тревожного не последовало, а не последовало потому, кажется, что тут вмешалась красивая женщина“[1]. До раздеванья же Ланг грозил отправить эту женщину в карантин.

Для другой женщины благодаря ее красоте дело кончилось трагически. Жена унтер-офицера Кириллова, мать троих малолетних детей, понравилась доктору Верболозову, который и лично и через подсылаемых женщин склонял ее к сожительству, грозя иначе отправить с детьми в карантин. Но женщина оставалась непреклонной, несмотря на все соблазны и угрозы. Через некоторое время она с детьми заболела, была отправлена в карантин, где все четверо и умерли. Материалами 1-й следственной комиссии установлено, что она и дети заболели после того, как поели присланных Верболозовым конфект, которых не ел ее муж, оставшийся в живых.

Что здесь было: простое совпадение, умышленная отрава из мести или же конфекты были пропитаны каким-либо снадобьем с целью вызвать лишь желудочное заболевание, которое дало бы повод отправить в карантин, а смерть последовала уже от тяжелых карантинных условий—судить трудно. Одно несомненно, что комиссия признала Верболозова виновником этих четырех смертей, но он не только не был наказан, но даже получил награду за усердие по борьбе с чумой, а разоблачение этого случая было одним из поводов ликвидации комиссии Воронцовым.

Не даром же сам Верболозов с гордостью заявляет, что он сделался „ужасом для всех“, а Грейг прямо

[1] Н. Закревский. Цитир. соч., стр. 30.

говорит: „его имя есть имя врага, истребителя людей“[1].

Эти бесчеловечные издевательства были у всех на виду, и тем не менее они безнаказанно продолжались вплоть до самого восстания.

Вновь назначенный после восстания новый комендант города и председатель одной из следственных комиссий генерал-майор граф Толстой пишет в своем секретном рапорте: „Пользуясь слабостью начальства, некоторые из чиновников и врачей, особенно чиновники Семенов, Ланг и Верболозов, сделались истинными бичами города, часто обращались с жителями жестоко и всюду находили чуму, всякого больного признавали чумным“[2].

Как мы уже указывали, с начала 1830 г. карантинные строгости усилились, а злоупотребления увеличились, что связывается с прибытием в Севастополь вновь назначенного председателя противочумной комиссии Ланга и его помощника Верболозова. До их приезда брались в карантин только сами больные (чем бы они ни были больны) и проживавшие с ними в одной комнате члены семьи. Забирались также, окуривались или сжигались и все их вещи, причем, обычно, никакой описи и оценки забираемому и сжигаемому имуществу не производилось.

Это была весьма доходная статья для карантинных чиновников и полиции, так как давала совершенно неограниченные возможности обогащения за счет этих, якобы зачумленных, вещей.

После приезда указанных лиц в случае заболевания забирались в карантин уже не только сам больной и его семья, но все решительно проживавшие в одном дворе и их вещи. Нередко до основания разрушался и самый дом.

Впрочем, если дом и не разорялся, то возвращавшиеся из карантина редко находили его целым, так как обычно все деревянные части растаскивались соседями на топливо, в котором была крайняя нужда. Таким образом направление в карантин было равносильно полному и окончательному разорению. Попадавшие в карантин лишались и всего имущества и самого крова над головой. Понятно, почему отправку на Павловский мысок жители считали, по замечанию Грейга, равнозначащей смерти.

---

[1] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.

[2] Там же. Рапорт гр. Толстого.

ГЛАВА V

Увеличение заболеваемости и смертности среди населения, явившееся в результате введенного Лангом купанья зимой в бухте, в свою очередь послужило поводом для введения новой карантинной меры, которая носила наименование „всеобщего оцепления", установленного первоначально на 21 день, но продолжавшегося фактически целых восемьдесят дней, с 10 марта по 27 мая 1830 г.

Сущность его сводилась к тому, что все население города целиком разобщалось между собой. На период „всеобщего оцепления" никто из жителей вовсе не имел права выходить за пределы своего двора.

Все продукты, фураж для скота, дрова и вода доставлялись по домам особыми квартальными надзирателями под наблюдением продовольственных комиссаров. Весь город в этих целях был разделен на 9 частей.

Обязанности военного полицмейстера исполнял капитан-лейтенант Макаров, комиссар Беккер ведал раздачей казенных пайков. Для организации снабжения населения „жизненного разного рода припасами" была создана особая „комиссия по предмету продовольствия" под председательством морской артиллерии генерал-майора Примо.

В распоряжение этой комиссии была отпущена весьма большая сумма денег, точно так же, как предоставлено было право требовать всякие „продовольственные припасы" из морских и сухопутных провиантских магазинов.

Частная торговля из лавок и ларьков сохранялась, но могла производиться для большинства населения лишь через квартальных комиссаров. Деньги, ассигнованные комиссии, предназначались на закупку дров, фуража для скота, на доставку воды и оплату чиновников, участвовавших в „погашении чумы".

Семьям нижних чинов и вдовам их продовольствие должно было выдаваться бесплатно в виде определенного казенного пайка. Им же доставлялась бесплатно вода по одному ведру в день на душу. Остальному населению продукты за их счет закупали квартальные надзиратели, а вода доставлялась чиновником Степановым по $1^1/_2$ копейки за ведро.

Все должностные лица, торговцы и поставщики продуктов, нижние чины при выполнении ими служебных обязанностей, чернорабочие, водовозы и носильщики имели право ходить по городу, для чего им выдавались особые знаки с номерами для ношения на груди. Все лица, появлявшиеся без номера, арестовывались.

Раз в неделю производилась окурка домов хлором, а также осмотры и купания, о которых мы уже говорили. Эти меры, направленные теоретически к полному разобщению всего населения, на практике совершенно не достигали своей цели и, как совершенно справедливо указывают Грейг, Толстой, Закревский и др., обрушились всей своей тяжестью исключительно на наименее обеспеченное население слободок и Хребта.

Для них это было новым испытанием, переполнившим уже чашу долгого терпения, и новым ухудшением и без того ужасного положения. С момента „всеобщего оцепления" жители слободок и Хребта лишались последнего своего источника существования—поденной работы, торговли на базаре съестным и продукцией мелкого ремесла.

С этого времени население слободок и Хребта начинает терпеть самый настоящий голод и впадает в полное разорение. (О бедственном положении слободских жителей собран был первой следственной комиссией по делу о восстании огромнейший материал.) Теоретически дело должно было обстоять благополучно. Вдовы и семьи нижних чинов получают казенные пайки и даровую воду. Остальному населению комиссары доставляют прямо на дом, да еще по твердым ценам, все необходимое. Чего же еще надо бы?..

Однако практика „всеобщего оцепления" показала совершенно другое, а именно, что и эта новая мера была проведена в интересах спекулянтов, казнокрадов и прочих, строивших свое благополучие на бедственном положении народных масс.

Несмотря на объявление о твердых ценах, последние не только не осуществлялись на практике, но все и без того высокие цены в несколько раз поднялись.

Самый способ покупки и доставки продуктов открывал новые и совершенно ничем не ограниченные возможности спекуляции. Ограничение круга лиц, имевших право ходить по городу с предоставлением этого права лавочникам и поставщикам, создало небольшой круг монополистов по закупке продуктов, какие подвозились к двум заставам.

Однако здесь пальму первенства взяли сами члены Продовольственной комиссии, которые, согласно официальным

документам, начали при содействии полиции перехватывать у застав продукты, сено и дрова, насильно возвращая деньги и забирая продукты даже в тех случаях, когда более мелкие конкуренты успевали уже их закупить. Грейг об этом пишет: „Член продовольственной комиссии закупал все припасы у застав, комиссары же развозили их по домам и получали деньги. Жители получали, когда доставят, что отпустят, и платили, что требовали.

Жители Севастополя, военные и частные, не имеют запасов, содержа себя единым жалованьем, и нижние женатые чины с оцеплением лишились заработков. Цены удвоились и утроились. В самой воде нуждались для питья. Бедные не имели средств вымыть белья все время заключения в домах в течение восьмидесяти дней"[1].

„Контрагентами" членов продовольственной комиссии были квартальные комиссары, которые снабжали жителей скупленными предметами по утроенным ценам. Эти комиссары наживались не только на цене продуктов, но и на очередности их доставки, беря за это взятки.

В результате такой системы снабжения, как удостоверяет Кондораки, „маркитанты с первых же дней начали злоупотреблять своею обязанностью и отпускали во-время провизию только тем, которые давали взятки, а б е д н ы м д о с т а в л я л и о к о л о п о л у н о ч и и с а м о е н е г о д н о е"[2].

Фактически в это время вся торговля предметами первой необходимости была сосредоточена в руках нескольких крупных торговцев-спекулянтов, комиссионеров и самих членов Продовольственной комиссии, о которых восставшие и вспомнили в ночь на 4 июня 1830 г.

Самые средства, ассигнованные в распоряжение Продовольственной комиссии, также пошли главным образом в карманы ее членов и прочих чиновников: „Две трети сумм на раздачу провианта пошли на содержание чиновникам. Чиновники и врачи в избытке все получали"[3]. „Комиссары и их помощники, медики, фельдшера и мортусы, не имея над собой надлежащего надзора, поступали с жителями неблагоразумно и даже жестоко"[4].

„Карантинные чиновники, угнетая один нижний класс людей самым жесточайшим образом, напротив, себе и другим дозволяли такие поступки, как бы чумы вовсе не было" [5].

---

[1] Лоциа. Морск. истор. архив, д. № 100 о бунте, случившемся в Севастополе.

[2] К о н д о р а к и. Цитир. соч., стр. 214.

[3] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд корп. ком., д. № 21.

[4] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

[5] Там же, д. № 20. Изложение о ходе событий.

Еще хуже обстояло дело с выдачей казенных пайков вдовам и семьям нижних чинов, которых жило в Севастополе весьма большое количество.

Прежде всего самая выдача задерживалась под разными предлогами: предписание Воронцова о раздаче было получено еще 29 января, а фактически раздача начала производиться лишь с 20 марта 1830 г., т. е. спустя целые два месяца.

Самая формулировка приказа о раздаче пайков, без всякого определения их норм, по полному усмотрению чиновников—„без излишества и недостатков", „примерно круглым числом"—дала „явный повод к бесчисленным злоупотреблениям"[1], чем и воспользовались полностью все так или иначе прикосновенные к делу снабжения чиновники и комиссары.

„Усмотрение"—было единственным мерилом пайков. „По усмотрению" должны были выдаваться дрова. Детям полагалось выдавать на питание по 5 коп. также не ежедневно, а „по усмотрению".

В результате таких порядков население находилось в полной зависимости от продовольственных чиновников, которые выдавали кому хотели, что хотели и сколько хотели, извлекая для себя из этого максимально возможные выгоды.

„Большим бедным семействам давали продовольствия и дров мало, а денег ничтожное количество—от 10 до 80 коп. за все время"[2].

Подтверждение этого мы находим в целом ряде показаний самих женщин. Так матроска Максимова говорит: „От комиссара Беккера за все время получила только четыре вязанки дров". Иванова и того не получила: „Макаров обещал дров, а Беккер сказал, что Сталыпин не велел давать". Алексеева—„получила от Беккера за все 40 дней на троих только по одной булке в 2 фунта и больше ничего". Семья в 9 человек, из которых 8 детей, получила за все время 4 руб., одну вязанку дров и $1^1/_2$ четверти муки, которая была так горька, что ее нельзя было есть"[3] и т. д.

Когда же приведенные в отчаяние голодные жители обращались с просьбой о выдаче пайка, военный полицмейстер Макаров попросту порол их за такую дерзость, как это подтверждается следственными материалами и удостоверяет адм. Грейг: „Многие просившие хлеба или топлива были наказываемы: мужчины линьками, а женщины розгами"[4].

---

[1] Там же, д. № 22. Замеч. Грейга к докл. зап. Аудит. Департам.
[2] Там же, д. № 22.
[3] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 90.
[4] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22.

Однако дело не только в том, что отпускавшегося пайка, который рассасывался по карманам чиновников, было явно недостаточно для прокормления. Он был к тому же и совершенно негодного качества. Это и понятно, так как большинство продуктов выдавалось из морских магазинов, а о качестве продуктов в них мы хорошо знаем из произведенной ревизии Римского-Корсакова. Очевидно, все эти совершенно негодные к употреблению мука, сухари, крупа и прочее нашли для себя чрезвычайно выгодный сбыт на кормежку голодавшего населения слободок.

О том, что продукты были совершенно не пригодны к употреблению, удостоверяет сам адм. Грейг, полемизируя с заключением комиссии генерала Тимофеева. В пылу полемики адмирал совершенно упускает из виду, что он тем самым изобличает самого себя, ибо они в большинстве поступали из морских магазинов, относительно которых у него было совершенно другое мнение, когда приходилось защищать своих интендантских чиновников.

О том, что выдаваемые казенные пайки в большинстве были совершенно не съедобны и их скармливали скоту, у кого он уцелел еще, единогласно утверждают допрошенные первой следственной комиссией жительницы Корабельной слободки, которых было опрошено свыше четырехсот.

На снабжении населения совершенно открыто и нагло наживались продовольственные комиссары, которые вместе с тем занимались и особого рода спекуляцией. Имея распоряжение выдавать бесплатно бедным жителям, имеющим коров, по 15 фун. в день сена, они не только брали за него огромную по тому времени цену 1 р. 50 к. за пуд, но и вообще отказывались его выдавать даже по такой спекулятивной цене, вынуждая продавать им же забесценок коров и лошадей.

Вот как передает об этих вымогательствах Закревский со слов своей квартирной хозяйки.

„Беккер (комиссар по снабжению) прислал два пуда сенца и наказал дозорному: возьми,—говорит,—от Бушковой за сено три рубля, да скажи, чтоб корову-то продала мяснику, а не то, пожалуй, и я дам ей двенадцать рублей за корову, а сена больше отпускать не стану, нету,—говорит,—а у самого теперь четыре коровы, а была одна, так, видите ли, правда-то какая!.. а Степанов то, другой жидомор (чиновник-откупщик снабжения водой), у него теперь 9 лошадей... Сидоров бедный держал одну лошаденку, только ею кормился, а как заперли город, так и отдал Степанову с дрогами и упряжкою за 20 руб. Где же тут правда-то?“ [1]

[1] Н. Закревский. Цит. соч., гл. II, стр. 306.

Естественно, что население, чтобы не умереть с голоду, распродавало спекулянтам последнее свое имущество, а все что было в доме деревянного, вплоть до стропил и полов, было обращено в топливо. По удостоверению первой следственной комиссии жители Корабельной слободки—„сожгли уже столы, скамейки, сундуки, кровати, полы и даже из крыш выламывали куски дерева“[1]. „Изнуренные женщины были в рубищах, а дети полунагие“.[2]

Доведенные до полной нищеты жители слободок жаловались сами начальству и подавали жалобы через своих мужей-матросов, рабочих экипажей[3]. На них никто не обращал никакого внимания. И единственным результатом было наказание жалобщиков за „дерзость“ линьками и розгами. Озлобление жителей слободок на „всеобщее оцепление“ особенно усиливалось, так как они видели, что по существу оно вовсе не было „всеобщим“.

В самом деле, в то время, как жители слободок и Хребта безвыходно в течение 80 дней сидели по своим домам, в городе, как мы уже указывали, почти нормально шла жизнь. Нормально шли занятия во всех учреждениях, работы на кораблях, в Адмиралтействе и во флотских экипажах. Чиновники и офицеры, имея пропускные знаки, беспрепятственно ходили друг к другу в гости, устраивали вечеринки, балы. Так же беспрепятственно всюду ходила их многочисленная челядь—денщики, повара, конюхи и т. д. Даже женатые мастеровые рабочих экипажей отпускались, как обычно, на ночь домой, в то время как их жены и дети должны были сидеть взаперти.

Эта явная несообразность должна была бросаться в глаза всем „простого звания людям“ и приводить их, в связи с теми издевательствами и злоупотреблениями, от которых они терпели, к единственному выводу, что чума выдумана в интересах спекулянтов, карантинных чиновников и полиции. Сознание отсутствия „правды“ все глубже проникало в массы, порождая убеждение, что ее нигде нет, что голод и разорение производят сознательно все „примазавшиеся к чуме“, что помощи ждать неоткуда, так как „все благородные за одно“ и что надо самим искать себе спасение.

И действительно, мы видим, что в период с февраля месяца 1930 г., еще до начала „всеобщего оцепления“, происходят пока разрозненные выступления как отдельных лиц, так и

---

[1] Лоция. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, дело № 22, рапорт след комис. от 12/VI—1830 г.

[2] Там же, д. № 20. Излож. о ходе событий.

[3] Лоция. Военно-истор. арх. Фонд. корп. ком., д. № 81.

целых групп, против начальства, в частности против отправки в карантин совершенно здоровых людей. На это жалуется Верболозов, говоря, что им „в течение января и февраля отправлено было в военный и временный (на Павловском мыске) карантин до 70 человек и ни один из них не был отправлен без того, чтобы я не был преследуем ругательствами и нередко камнями... 28 февраля оказался чумным мастеровой 17-го рабочего экипажа Вас. Абраменко. Прибывшие для отправки его в карантин комиссар Юхно с мортусами и несколькими конвойными были разогнаны толпой матросов и женщин, а я едва спасся, сопровождаемый градом камней и поленьев, при этом у часового было вырвано ружье и сорвана перевязь с унтерофицера“[1]. В феврале же было два случая вооруженного сопротивления. Когда к отставному унтер-офицеру Ананьеву пришли брать в карантин заболевших двух дочерей и сына, он вооружился двумя пистолетами и ружьем и угрожал застрелить всякого, кто приблизится к дому, чтобы взять его детей. Быстро собравшаяся на помощь ему толпа была с большим трудом разогнана казаками. Такое же вооруженное сопротивление оказал на другой день при тех же обстоятельствах другой отставной нижний чин Федоров[2].

По словам Верболозова, когда он проходил по слободкам, то слышал угрозы убить его и не редко вслед летели камни. А накануне восстания один рабочий 17-го экипажа, проживавший на Артиллерийской слободке, крикнул ему: „Тебя ночью убьют за то, что вы, сукины сыны, мошенники, шпионы, продали город, завели карманную чуму“[3].

Настроение в городе становилось все более возбужденным, все чаще происходили случаи открытого неповиновения распоряжениям начальства и все шире распространялось в массах убеждение, что им самим нужно взяться за борьбу „с карманной чумой“. В феврале, еще до начала „всеобщего оцепления“, начала зарождаться идея „всеобщего бунта“ и велась соответствующая агитация в массах. Так, например, мы имеем свидетельство, что арестованные за вооруженное сопротивление лица— „утверждали, что к сему были побуждаемы приходящими людьми, кои советовали им защищаться против делаемых карантинными чиновниками насилий“[4].

---

[1] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 75, военно-судное.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.

Всеобщее недовольство, начинало обнаруживаться совершенно явно и перерастать уже в открытые выступления. Среди бедствующих жителей слободок и Хребта как раз и были очаги возмущения, причем Корабельная слободка, по утверждению многих официальных лиц была „главным гнездилищем бунтовщиков".

Полное разобщение между собою жителей слободок должно было иметь целью предупредить возможность сговариваться и действовать организованно. Лишь этим можно объяснить, что „всеобщее оцепление", введенное вначале на 21 день, несмотря на явное уменьшение заболеваемости и, наконец, полное прекращение ее, систематически и уже без всякого основания длилось в течение почти 80 дней.

Причем это оцепление сохранялось даже тогда, когда долгое время во всем городе вообще не было ни одного заболевания. При этом становятся вполне объяснимыми и следующие факты: что уже после снятия оцепления со всего города оно было сохранено для одной Корабельной слободки, хотя в ней не было также ни одного заболевания целых два месяца, и что жители ее подлежали выселению даже в лагерь. Однако выселяли не всех, а большую часть, оставляя по принципу „благонадежности".

Всеобщее оцепление, объявленное с 10 марта, предотвратив возможность для недовольных действовать сообща, не прекратило отдельных выступлений, являвшихся протестом против издевательств над населением. На другой же день после его объявления, а именно 11 марта, в Севастополе произошло событие, взволновавшее весь город и послужившее новым весьма сильным толчком к возбуждению населения и материалом для агитации против властей. В этот день карантинный чиновник, делая обход, обнаружил в семье матроса 13-го ластового экипажа Григория Полярного больных жену и дочь, которые сейчас же были объявлены чумными и отправлены в карантин. На самом деле, как удостоверяет доктор Закревский, лично знакомый с этим случаем, они заболели весьма распространенной в то время в Севастополе болезнью—рожистым воспалением, от которого вскоре и выздоровели. Когда карантинный чиновник стал настаивать, чтобы сам Полярный вместе с младшей совершенно здоровой дочерью отправился в карантин, последний схватил ружье и выстрелил в чиновника. Когда об этом донесли генерал-губернатору Сталыпину, он лично отправился на место происшествия в Артиллерийскую слободку в сопровождении флотского начальника, адъютан-

тов и отряда войск. Прибыв к дому Полярного, Сталыпин „убеждал" его подчиниться приказу.

Полярный ответил, что свою здоровую дочь он в карантин не отдаст и сам не пойдет, а первого, кто приблизится к дому застрелит, после чего забаррикадировал двери.

Тогда по приказанию Сталыпина была открыта отрядом стрельба в Полярного через окна, а он, взобравшись на чердак, отстреливался через слуховое окно. В результате Полярный убил адъютанта флотского начальника лейтенанта Делаграмматика и опалил выстрелом самого Сталыпина, но в конце концов был схвачен и здесь же у своего дома без суда и следствия по приказу Сталыпина расстрелян[1].

Этот случай бессудной казни матроса, не захотевшего отправить свою совершенно здоровую маленькую дочь в чумный карантин на верную смерть, произвел огромное впечатление на всех жителей города, в особенности на население слободок. Возбуждение, несмотря на всеобщее оцепление, достигло такой степени, что генерал-губернатор издал приказ об отобрании у населения всего „что было похоже на какое-либо оружие"[2]. Оружие было отобрано и сложено в пустой избе в Корабельной слободке, к которой был приставлен часовой.

Только опасением, что находящиеся в состоянии крайнего возбуждения жители слободок могут взяться за оружие и выступить против властей уже не одиночным порядком, а организованно, можно объяснить, что после случая с Полярным последовало разоружение всех решительно жителей города. Эта последняя мера в значительной степени успокоила городские власти, вселив уверенность, что теперь самые „буйные" элементы не смогут ничего предпринять, особенно принимая во внимание наружное оцеплениегорода войсками и наличие значительного гарнизона в самом Севастополе. Этой уверенностью можно объяснить ту большую беспечность, какую власти проявляли даже тогда, когда им уже определенно стало известно о том, что брожение среди матросов и жителей слободок не только не утихло, но, наоборот, стало выливаться в подготовку к какому-то „буйному действию".

---

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22. Лоциа. Военно-истор. архив. д. № 75 военно-судное. З а к р е в с к и й. Цитир. соч., стр. 302.

[2] Н. З а к р е в с к и й. Цитир. соч. стр. 302.

ГЛАВА VI

С наступлением теплого времени в городе совершенно прекратились заболевания. Таким образом, формально не было больше никакого повода продолжать разобщение жителей посредством „всеобщего оцепления". Последнее с 27 мая и было отменено для всего города, кроме однако Корабельной слободки. Жителям последней было объявлено, что оцепление будет сохранено еще на неделю, т. е. до 3 июня. Никто из современников не мог объяснить эту, казалось бы, совершенно лишенную всякого основания меру. Грейг признается, что продление оцепления было произведено „по неизвестным причинам". Дело в том, что заболевания раньше всего прекратились именно на Корабельной слободке. И в то время, как в городе и в частности на Артиллерийской слободке еще наблюдались единичные случаи заболеваний, Корабельная слободка давным-давно была совершенно благополучна. Поэтому, с точки зрения чисто противочумной, не касаясь других скрытых причин, мероприятие это было лишено всякого смысла и рассматривалось массами, как новое доказательство бесчеловечного отношения к жителям слободки и желания уморить их с голоду. Этими именно аргументами и воспользовались в дальнейшем главари восстания во время его практической подготовки, о чем мы скажем ниже.

Приведенные этой мерой в полное отчаяние жители слободки тем не менее приняли известие о ней, как будто, внешне спокойно и, как удостоверяет контр-адмирал Скаловский и другие официальные лица, заявили о своем согласии оставаться в оцеплении до 3 июня.

Однако это было только внешнее спокойствие, объясняемое известной дисциплинированностью корабельцев, за которым скрывались определенные действия, направленные к подготовке „всеобщего бунта", что обнаружилось уже на другой день, т. е. 28 мая. Снятие „всеобщего оцепления" со всего города, кроме Корабельной слободки не внесло ожидавшегося успокоения в самом городе, а наоборот. Против этого нового продления оцепления

Корабельной слободки открыто протестовали жители Артиллерийской слободки и матросы флотских и рабочих экипажей. Вслед за снятием „оцепления" в городе квартальный надзиратель Худешов еще „с неделю перед бунтом заметил о ропоте и волнении народа"[1].

Адъютант Сталыпина поручик Орлай показывал, что „первые признаки неповиновения обнаружились на Корабельной слободке 28 мая скоплением на улице и нерасхождением по домам ночью"[2].

30 мая в город приезжал губернатор Казначеев с начальником Таврического жандармского управления ротмистром Локателли и имел совещание со Сталыпиным, во время которого, по свидетельству Локателли, лично предлагал Сталыпину „р е ш и т е л ь н ы е м е р ы д л я у к р о щ е н и я в с а м о м н а ч а л е б у й н о г о д е й с т в и я"[3].

29 мая неожиданно было объявлено жителям Корабельной слободки, что карантин для них продолжается еще на 2 недели, и часть жителей будет выселена на этот срок в лагерь.

30 же мая сам Скаловский—„оповестив экипажных и частных начальников команд, расположенных в Корабельной бухте, вместе с ними в 7 часов пополуночи прибыл в Слободку, где нашел толпу людей, особливо женщин, и объявил им волю начальства о том, что всеобщее оцепление для жителей Корабельной слободки продляется еще на две недели, что на этот срок они должны будут после окурки домов и купанья в море, выйти в лагерь, на что женщины и частью мужчины из толпы ответили, что они содержатся в карантинном термине более ста дней, что в продолжение всего времени они терпели голод, холод и большую во всем нужду, что они сами, их домы и платье были уже очищены окуркою, что когда отдан был приказ для освобождения их через неделю, т. е. 3 июня, чему они беспрекословно повиновались и что 29 числа был у них карантинный чиновник Семенов и оповестил их, чтобы все жители Слободки выходили со своим имуществом из домов во временный лагерь, что иначе с ними поступлено будет жестоко, имущество будет сожжено, а их самих будут гонять на веревках в море купаться... Отвечали на мои убеждения, что этого не исполнят, другой окурки не примут и останутся на месте до вторника, или 3 июня, т. е. срока, определенного

---

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком. д. № 22 по особой описи.

[2] Там же, д. № 79 военно-судное.

[3] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22, дело № 4, донесение Локателли шефу жандармов.

начальством“ [1]. Тогда Скаловский приказал бригадному командиру полковнику Воробьеву оцепить слободку войсками и расставить вокруг пикеты.

Этим моментом определяется начало открытого и организованного неповиновения жителей Корабельной слободки не только карантинному начальству и главному начальнику города генерал-губернатору Сталыпину, но и главному начальнику всего края гр. Воронцову, на основании распоряжения которого действовал Сталыпин.

Относительно 29 числа имеется два показания. Одно Скаловского о том, что тридцатого числа жители жаловались ему на чиновника Семенова, который 29 мая с угрозами предлагал им выйти за город в лагерь после окурки и купанья в бухте, и юнги Соловьева, который утверждал, что первый раз он „был послан в Севастополь своим отцом 29 мая к плотнику 1-й роты Ивану Никитину, чтобы тот упросил команду мастеровых быть помощниками в бунте, который предполагают жители Корабельной слободки. Мастеровые ответили, что все находятся в готовности. До этого времени слышал, как матросы 33-го флотского экипажа около охранительной цепи говорили с оцепленными жителями слободки, что при самом начале бунта будут звонить в колокола в церкви близ экипажа“ [2].

Надо заметить, что изложение событий между 28 мая и 3 июня в различных официальных бумагах носит в значительной мере противоречивый характер. В частности имеется расхождение указа Правительствующего Сената от 12/VII 1830 г.[3] с комиссией Воронцова о дне смерти старухи Щегловой, которая послужила поводом для открытого выступления женщин слободки против карантинных властей.

В отношении смерти Щегловой мы должны принять дату Воронцовской следственной комиссии, а именно 31 мая, приводимую Хартахаем, которая, конечно знала о всех событиях более точно. Эту именно дату смерти Щегловой приводит и Воронцов в приказе своем о роспуске комиссии Грейга [4].

Значительное расхождение мы видим и в описании самих обстоятельств и причин смерти Щегловой.

Шрамков, Ланг и с их слов Сталыпин признали, что жительница Корабельной слободки—старуха Щеглова умерла от чумы.

---

[1] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

[2] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком, № 80/38—40.

[3] Лоция. Морской истор. архив., д. № 100 о бунте, случившемся в Севастополе.

[4] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

В „изложении о ходе событий“ на основании показаний 1-й следственной комиссии дело излагается иначе. Комиссия установила, что женщина, имевшая свыше 60 лет, в течение долгого времени страдала обычным нарывом на шее и в день смерти чувствовала себя хорошо. По удостоверению часового, который стоял у самого ее дома, женщина была жива, когда к ней вошли мортусы, после чего он услышал крик о помощи, а через некоторое время оказалось, что она мертва. Сбежавшиеся со всех сторон женщины, схватили д-ра Шрамкова и не только привязали его к телу, но и вымазали материей из нарыва, предварительно выкупав доктора в бухте[1].

Свидетельница Максимова также показывает, что старуха Щеглова до прихода мортусов была жива, что мортусы ее удушили в то время, как она сидела и ела кашу, что когда женщины ее отбили, она еще была жива, а рот ее был набит морской травой[2].

На основании показаний комиссара Худешова, поручика Орлая, юнги Соловьева и других рисуется следующая последовательность событий после 27 мая. После снятия „всеобщего оцепления“ со всего города, кроме Корабельной слободки, жители Артиллерийской слободки и Хребта не только не успокоились, но пришли еще в большее возбуждение, видя, что их товарищи по бедствиям продолжают оставаться в оцеплении (показания Худешова). В свою очередь и жители Корабельной слободки, выразив согласие не выходить за цепь до 3 июня, на другой же день, 28 мая, вышли из домов и самовольно нарушили внутреннее разобщение в слободке, как это ясно удостоверил Орлай. О буйном настроении в городе могло быть послано сообщение Воронцову того же 27 мая (и никак не позже 28 мая), который в ответ и прислал приказ о выселении из Корабельной слободки „особо сомнительных“ за город в лагерь и о продлении ее оцепления еще на две недели. Об этом населению было объявлено 29 мая чиновником особых поручений Семеновым и полицмейстером Грушецким в самой грубой форме. В ответ на это жители слободок заявили, что „ни в лагерь не выйдут, ни купаться не будут, ни окурки не примут и в дома не вернутся“[3], и решили до 3 июня оставаться на площади и улицах, опасаясь, что в домах их могут легко схватить по одиночке.

Когда ни Семенов, ни полицмейстер, ни кап.-лейтенант Чупрасов, которому поручено было выселить жителей

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20.

[2] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. команд., д. № 90 военно-судное.

[3] Лоциа. Архив. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22, рапорт Скаловского.

силой, оказались не в состоянии этого сделать, то приведение в исполнение приказа Воронцова поручено было контр-адмиралу Скаловскому, который также, несмотря на приведенный отряд солдат, не мог справиться с возмутившимися жителями. В это именно время, вероятно, и возникла у Ланга мысль объявить старуху Щеглову, у которой уже две недели был на шее злокачественный нарыв,—чумной. С этой целью он лично 31 мая посетил Щеглову, заявил, что у нее чума, и послал Шрамкова и мортусов взять ее в карантин. Расчет мог быть тот, что нахождение среди жителей нового заболевания чумой должно было их убедить подчиниться приказу о выселении за город. Действительно ли мортусы „переусердствовали", забирая с собой в карантин Щеглову, или же она умерла независимо от них вопреки согласным показаниям часового и ряда женщин, самый факт смерти во всяком случае был использован Воронцовым для объяснения перед Сенатом причин приказа о выселении в лагерь; и постановление о выселении, полученное раньше смерти, было представлено, как следствие смерти.

Приезд в Севастополь губернатора Казначеева в сопровождении жандармского майора Локателли 30 мая, т. е. накануне смерти Щегловой и расправы женщин над Шрамковым, позволяет думать, что он был вызван полученными агентурными сведениями об общем возбужденном настроении жителей слободок после 27 мая, об отказе жителей Корабельной слободки выйти в лагерь и о подготовке какого-то „буйного действия"... Поэтому губернатор Казначеев и убеждал Сталыпина „принять решительные меры для укрощения в самом начале буйного действия", говоря, что „замедление заразительнее и вреднее, чем чума".

А когда Сталыпин отказался от осуществления предложенных мероприятий, то Казначеев, поссорившись с ним, выехал на наружную линию оцепления и здесь совместно с „Херхеулидзевым укрепил линию, чтоб устоять от насилий, которых ожидать надо было"[1].

Таким образом, речь шла уже вовсе не о нарушении противочумных мероприятий, а о том, что „заразительнее и вреднее чумы": о насилиях, которых Казначеев, более осведомленный, чем Сталыпин, ожидал в ближайшее время, и насилий таких, какие грозили даже внешнему, военному оцеплению города. Случай же со Шрамковым, конечно, не мог бы вызвать столь серьезных приготовлений со стороны Казначеева и Херхеулидзева,

[1] Лоция. Морск. истор. архив. Архив морск. минист. Фонд № 343, д. № 4 секретное. Записка к шефу жандармов.

и в сущности, вопрос о том, что последовало раньше,— смерть Щегловой и случай со Шрамковым или приказ о выселении,—в связи с этими обстоятельствами решающего значения не имеет. Дело в это время выходило уже за пределы чисто карантинных осложнений на Корабельной слободке. Возмущение охватило уже, кроме жителей Корабельной слободки, Артиллерийскую слободку, Хребет и матросов, и направлялось не только против карантинных чиновников, но против полиции и офицеров. Адъютант Сталыпина Орлай говорит, что 1 июня, когда он возвращался с Корабельной слободки, то увидел матросов, толпившихся на улице многими кучами (29 флотского экипажа). „Начав разгонять их, я ударил одного нагайкой, медлившего удалиться и не снимавшего фуражки. Они все побежали к казарме, а от дверей закричали: „что ты горячишься, поди сюда, мы тебе дадим". Я доложил об этом Сталыпину. То же и пехотный офицер сказал мне, что слышал, как матросы говорили: „С первым выстрелом итти на помощь слободке" [1].

Около того же времени несколько человек 29 флотского экипажа кричали квартальному надзирателю Юрьеву: „Скоро ли откроют огонь, мы только того и ожидаем, мы готовы" [2]. Контр-адмирал Скаловский того же числа „видел недалеко от губернских и георгиевских казарм пять или шесть куч матросов, а также часть рассыпавшихся по косогору, которым велел разойтись" [3].

Это всеобщее возбуждение и ожидание массовых выступлений побудило флотского начальника вице-адмирала Патаниоти издать 1 июня знаменательный приказ, в котором он предлагает всем штаб- и обер-офицерам безотлучно находиться при своих командах не только днем, но и ночью" [4].

Наконец, сама высочайше учрежденная следственная комиссия, которая пользовалась как своими, так и судебными материалами, констатирует, что „первого июня, кроме Корабельной слободки замечено было расположение к мятежу и в некоторых других пунктах" [5].

В конце концов и сам Сталыпин, который был совершенно уверен на основании успокоительных заверений своих приближенных, что непосредственной опасности для властей нет и что в случае возникновения таковой

---

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 79, военно-судное.
[2] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21, рапорт высоч. учрежд. следств комис. Воронцову от 12/VIII 1830 г. № 891.
[3] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.
[4] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[5] Лоциа. Мор. истор. арх. Архив мор. минист-ва, фонд № 343, д. секр. № 4, записка к шефу жандармов.

с возмущением легко будет справиться, все же несколько забеспокоился, как видно из донесения его от 2 июня Воронцову, в котором он пишет:

„Я не должен скрыть от Вашего сиятельства, что расположение умов частей морских экипажей, в Севастополе находящихся, весьма неблагонадежно, так как они, почти не скрываясь, говорят, в случае, если бы начальство вознамерилось действовать на мятежников силою оружия, то они выжидают только первого выстрела, чтобы итти к ним на помощь“ [1]. Таким образом, слухи о готовящемся „мятеже“ были широко известны всем в городе.

Весьма вероятно, что это убеждение Сталыпина, что применение оружия к жителям Корабельной слободки может вызвать возмущение во флотских и рабочих экипажах, и удерживало его от решительных мер, на которых настаивал губернатор Казначеев, ограничиваясь уговорами и угрозами, и только первого июня, видя, что „бунтовщики становились дерзновеннее и требовательнее“, отдал наконец распоряжение через своего адъютанта Скаловскому: „менее говорить, а больше действовать“ [2], „отыскать зачинщиков и буде таковыми окажутся мужчины, то предавать их военному суду, а если—женщины, то наказать их сильно розгами в разных частях города для лучшего примера“ [3].

Однако и этого распоряжения Скаловскому выполнить не удалось.

Рассадником „мятежного духа“ (и не без основания,—прибавим от себя) в глазах начальства была Корабельная слободка, которая,—говорится в донесении следственной комиссии к Воронцову,—„как известно была гнездилищем мятежников“. Единственно поэтому, конечно, Корабельная слободка и была оставлена на положении „всеобщего оцепления“ сначала на семь дней, а затем еще на две недели с выводом части наименее „благонадежных“ жителей за город во временный лагерь. Причем этот вывод, формально связываемый с противочумными мероприятиями, на самом деле имел целью изолировать наиболее опасные и подозрительные элементы от остального населения, чтобы вдали от города ими заняться.

Это подтверждается тем, что фактически выселению подлежали не все жители слободки, и наиболее благонадежным, за которых ручалось начальство, было разрешено остаться.

Так унтер-офицер Кувшинников, когда всех назначили

[1] Хартахай. Цитир. соч., стр. 381.
[2] Лоциа. Воен. истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 79, военно-судное.
[3] Хартахай. Цитир. соч., стр. 381.

к выселению из слободки, пошел со своим капитаном к Сталыпину, чтобы он не выселял семейство его отца, и „он мою просьбу уважил“[1]. Также поручик Орлай говорит, что „объявлено было, что некоторая часть жителей должна выйти в лагерь“[2]. Наконец, и в рапорте Патаниоти говорится, что Воронцов распорядился выселить во временный лагерь лишь „наиболее сомнительных“[3].

Посмотрим теперь, что после 30 мая делалось на Корабельной слободке.

Выдав первого июня Скаловскому труп Щегловой, корабельцы вновь категорически отказались выйти в лагерь и разойтись по домам. Они продолжали оставаться круглые сутки на площади и прилегающих к ней улицах. Ни уговоры, ни угрозы Скаловского, генерала Примо и др. не приводили ни к каким результатам. Жители Корабельной слободки твердо стояли на своем. На приказ, переданный от имени Сталыпина адъютантом Орлаем,—выдать зачинщиков для наказания их линьками и розгами, жители Слободки ответили категорическим отказом, заявив: „мы не бунтовщики и зачинщиков между нами никаких нет и нам все равно, умереть ли с голоду или от чего другого“[4]. И вместе с тем заявляли, что до 3 июня они ничего решительно не будут предпринимать, но и по домам не разойдутся.

Тогда по распоряжению Скаловского оцепление Слободки было увеличено новыми частями под общим командованием полковника Воробьева в составе двух батальонов пехоты при двух орудиях. Вместе с тем было совершенно прекращено всякое сообщение с городом, и около трехсот женатых матросов флотских и рабочих экипажей были оставлены на слободке без выхода на занятия и работу.

Последняя мера не применялась даже во время наибольшего развития заболеваний при „всеобщем оцеплении“.

Это опять-таки говорит за то, что вопрос об изолировании жителей Слободки для начальства имел не карантинное, но уже политическое значение. Однако, оставляя матросов и мастеровых на слободке, вместо того, чтобы задержать их в казармах, севастопольские власти совершили с точки зрения своих интересов явную глупость, так как тем самым увеличили силы корабельцев.

Испытав все средства уговоров и угроз, Сталыпин

---

1 Лоциа. Военно-истор. архив Фонд корп. команд., д. № 90, военно-судное.

2 То же, д. № 79.

3 Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд Грейга, д. № 22.

4 Хартахай. Цит. соч., стр. 381.

решил прибегнуть к последнему средству—воздействию на религиозные чувства слобожан. С этой целью он лично дал соответствующее поручение соборному протоиерею Софронию Гаврилову, который в течение двух дней три раза производил „увещевание" жителей слободки.

Вот как сам протопоп рассказывает об этом: „Я первый раз прибыл в оную слободку первого июня с контр-адмиралом Скаловским, где, увидя за цепью карантинной стражи толпу народа, куда пришел и положил на столик святое евангелие, надел епитрахиль, взял в руки крест и начал говорить им, чтоб они повиновались начальству и исполнили бы те благотворительные меры карантинной осторожности, которые им определяют, внушая им, что это нужно для общего блага, к отвращению смертоносной болезни и к спасению народа и их самих.

Лишь только окончил, то вся толпа народа пала на колени... начали плакать и говорить следующее: „Долго ли еще будут нас мучить и морить? Мы все здоровы и более $1^1/_2$ месяцев находимся в карантинном состоянии по домам своим; дома наши окурены; мы и семейства наши все очищены. Нас обнажали, купали во время холода в морской воде. Скоро год, как заперт город—и жены наши, а также вдовы умерших и убитых матросов, с детьми своими, остаются в городе без заработков; все вообще сидели всю зиму в холодных домах; не имели пищи, все, что было по домам деревянного, пожгли; платье свое, скотину и все, что имели, продали и покупали хлеб, в воде также нуждались, когда сидели в карантине по домам больше ста дней [1], ибо нас не выпускали из домов, и мы ожидали, когда нам дадут воду. Будучи без дров многие ели одну муку, разведенную с водою. Карантинные чиновники или комиссия давали нам муку такую, что мы не могли есть..." Я, выслушав их терпеливо... напоминал им о присяге к повиновению и наказании за ослушность... Говорил им все, что мой долг, правила веры и законы мне внушили" [2]. Однако и „благочестивые" увещевания красноречивого попа, вооруженного всеми своими магическими атрибутами, не привели ни к какому результату и завершились неожиданно для начальства крупным скандалом, о котором сам протоиерей Гаврилов благоразумно умалчивает в своем донесении по начальству, но о котором свидетельствуют многие жители.

Видя упорную „жестоковыйность" своих „духовных чад"

---

[1] Из воспоминаний Закревского видно, что Корабельная слободка была подвергнута „всеобщему оцеплению" раньше, чем остальные части города, т. ч. этот срок 100 дней вполне правдоподобен.

[2] Русский архив 1867 г. № 8. О чумном возмущении в Севастополе 1830 г. Записка протоиерея Гаврилова.

протиерей Софроний впал в истерический гнев и, забыв о своей „терпеливости", начал бешено ругать жителей слободки. „Отец Софроний,—эпически рассказывает судебной комиссии одна из его „духовных дочерей",—после всех многих ругательств и угроз наконец в исступлении своем начал ударять крестом об трость и произносить против народа гнуснейшие ругательства: вы не христиане, вы собаки, вы подлой крови и пр. Народ отвечал, что он сам не христианин, так как бьет крестом, продал церковь, заперев ее, лишив христиан последнего утешения" [1].

Так совершенно неожиданно к конфузу начальства кончилась проповедническая деятельность темпераментного протоиерея Софрония. Сталыпину оставалось только надеяться на последний аргумент—войска.

Жители слободки 2 июня выдвинули свое контрпредложение, что они согласны выдержать еще двухнедельный карантин, но с условием, „чтобы оставить их при одной прежде бывшей страже оцепления, а прочие команды пушки, приготовленные по приказанию военного губернатора, удалить" с тем, что карантин они будут выдерживать в слободке.

Весьма характерно, что, соглашаясь продлить карантин, слобожане, или вернее их вожаки, о которых скажем ниже, требовали восстановления прежних порядков, при которых сохранялась для них возможность сношений с городом. Дело в том, что до оцепления слободки отрядами полковника Воробьева, последняя охранялась весьма слабо небольшим количеством пикетов, мимо которых легко было пробраться в город для связи с единомышленниками. Другое положение получилось, когда „символические" рогатки были заменены сплошным оцеплением из двух батальонов при двух пушках. Пробираться через такое оцепление даже ночью было крайне трудно и опасно. Таким образом сношение с городом стало весьма затруднительным, что могло нарушить план „мятежников" по подготовке выступления.

Так именно мотивы этого предложения были, повидимому, поняты и начальством, которое его отклонило, а оцепление усилило еще одним батальоном.

Однако такой ответ не обескуражил жителей слободки, а, наоборот, мы видим, что после этого они в свою очередь начали проявлять чрезвычайно большую активность. Мы имеем вполне точные и официальные указания, что с этого времени на Корабельной слободке начала весьма энергично вестись подготовка к восстанию, к которому как помнит читатель, жители слободки призывали матросов рабочих экипажей еще 29 мая.

[1] Лоция. Военно-истор. архив Фонд корп. ком., д.№ 10, военно-судное.

Прежде всего жители Корабельной слободки начали принимать меры, чтобы воспрепятствовать вторжению на слободку правительственных войск, для чего на всех пунктах, которые представляли опасность, они расставили свои пикеты. Затем вожаки восстания занялись подготовкой вооруженной боевой силы, захватив, повидимому, склад оружия, отобранного у населения после расстрела Полярного, который находился на Слободке. Кроме отставных нижних чинов в оцепленной слободке осталось около трехсот матросов флотских и рабочих экипажей, которые по роду своей службы не были вовсе знакомы с условиями пехотного боя. Для обучения они и прочее мужское население слободки были разбиты на три отряда. Один был под командой квартирмейстера 37-го флотского экипажа Тимофея Иванова, который играл руководящую роль в восстании и пользовался огромным авторитетом среди населения. О его исключительном авторитете говорят Скаловский, протопоп Софроний и др., что „одним знаком руки он водворял полную тишину среди возбужденной, кричащей и плачущей толпы женщин и детей". Другой отряд был под командой отставного квартирмейстера яличника Шкуропелова и третий—унтер-офицера 34-го флотского экипажа Пискарева.

Помимо мужчин в отрядах обучались и некоторые женщины. Обучение всех трех отрядов поручено было шкиперскому помощнику унтер-офицеру Кузьмину „по особой к нему доверенности прочих",—прибавляет следственная комиссия.—Он „распоряжался предохранительною частью, ставил мужчин во фронт и расставлял на тех пунктах, которые по общему рассуждению казались удобными для вторжения в слободку" [1]. „Ночью Кузьмин учил бунтовщиков маршировке, различным эволюциям" [2]. Таким образом, Корабельная слободка со 2 июня представляла из себя нечто вроде осажденной крепости, в которой довольно открыто шли военные приготовления и было организовано караульное охранение посредством особых пикетов. Намерения „осажденных" сводились в это время, повидимому, не к тому (как опасалось этого севастопольское начальство), чтобы прорвать военную цепь, сколько к тому, чтобы не допустить вторжения войск в слободку.

Второго июня „бунтовщики", как сообщает Хартахай, „составили род военного совета, на котором определили как время начатия действия, так и план самых действий. Тут же составили список всем лицам, которые должны пасть жертвой народного озлобления. Первым по списку значился военный губернатор ген.-лейт. Сталыпин, затем

[1] Лоция. Морск. истор. архив. Арх. морск. мин-ва № 1359, д. № 230.
[2] Хартахай. Цитир. соч., стр. 383.

следовали чины продовольственной комиссии, члены медицинского совета, далее следовали флотский начальник и прочие чины, и наконец, начальник карантинной линии и карантинные чиновники"[1].

Моментом начала восстания был назначен вечер 3 июня, когда заканчивались работы в Адмиралтействе. Это время было выбрано весьма предусмотрительно, так как к „шабашу" все матросы рабочих экипажей собирались в Адмиралтействе по своим экипажам, после чего холостые направлялись в казармы, а женатые по домам. Таким образом, в это время матросы всех рабочих экипажей были в сборе. День третьего июня также был благоприятен для начала восстания. Это был срок нового оцепления, до которого все жители слободки согласились ждать. Вожакам было ясно, что третьего числа оцепление не будет снято, что должно было послужить предлогом для поднятия широких масс.

Всеми указанными подготовительными мерами, упомянутым Хартахаем „Советом" и самим восстанием руководила, повидимому, какая-то организованная группа лиц, именовавшаяся „Доброй партией". Упоминание о ней мы встречаем в делах „о севастопольском мятеже" несколько раз. Так в редакции подписки протопопа Софрония о неимении в городе чумы, приводимой Хартахаем, сказано: „1830 г. июня 3 дня по требованию Доброй партии сим свидетельствую, что в городе Севастополе нет чумы...и не было".

Мы не знаем, откуда взял эту редакцию Хартахай. В подлинной подписке, находящейся в следственном деле, слов этих о Доброй партии нет, но в приписке к ней, сделанной разными лицами, значится и такая: „по требованию Доброй партии подписано подп. Вербовский"[2]. Упоминание, что один из отрядов „мятежников" „шел под знаменем Доброй партии", мы встречаем в следственном деле.

Еще одно упоминание о Доброй партии мы находим у того же Хартахая, который мог располагать архивными материалами, которые не сохранились до наших дней. Он пишет: „Жители Корабельной слободки под общим знаменем Доброй партии разделились на несколько партий и пошли по городу с криком ура и колокольным звоном"[3].

В связи с этим невольно напрашивается вопрос, не являлись ли организаторами этой „Доброй партии" некоторые из участников декабристского восстания из офицеров

[1] Там же, стр. 383.
[2] Лоция. Военно-ист. архив. Фонд корп. ком., д. №. 73 А, к № 49.
[3] Хартахай. Цитир. соч., стр. 386.

и матросов Балтийского флота, сосланные за недостаточностью улик в Черноморский флот? Или же кто-либо из декабристов Южного общества из младшего офицерского состава или рядовых, по тем же причинам попавших в Севастополь?

Повторяем, что это только вопрос, на который мы не находим положительного ответа в архивных материалах по Севастопольскому восстанию. Нам удалось лишь установить, что один из морских офицеров, прикосновенных к декабристскому восстанию, Лукашевский—действительно был переведен в Черноморский флот[1].

Однако нигде в материалах по Севастопольскому восстанию мы этой фамилии не встречали. А биографическая справка в словаре деятелей революционного движения в России говорит, что он благополучно дослужился до адмиральского чина.

Во всяком случае мы одно можем сказать, что, повидимому, какая-то определенная группа, именовавшая себя „Доброй партией", существовала и играла руководящую роль в подготовке и проведении Севастопольского восстания, имея свой центр на Корабельной слободке. Быть может, в нее входили некоторые из тех офицеров, которые занимались агитацией против карантинных мероприятий, как это установлено, но которые затем по каким-либо нам не известным причинам в самом восстании не приняли участия.

Что именно на Корабельной слободке шла подготовка восстания, мы увидим дальше при описании событий 3 июня.

---

[1] Гасфрейнд. Н. А. Декабристы во флоте. „Всемирный вестник", 1903 г. № 6—7.

ГЛАВА VII

Итак заранее назначенный для восстания день 3 июня наступил. Руководители восстания прежде всего озаботились, чтобы связаться со своими сообщниками в городе, послав туда с утра целую „делегацию", в количестве пяти старших юнгов. Почему были посланы именно юнги — вполне понятно, так как юношам было гораздо легче и безопаснее пробраться через оцепление, а пребывание их в городе не могло вызвать подозрения, так как вблизи флотских и рабочих экипажей помещалось училище для юнгов.

Целью посылки юнгов было напомнить о времени для начала восстания и его условном знаке, проверить подготовленность к нему и еще раз напомнить о тех агитационных доводах, какими руководители городской части участников восстания должны были побуждать к нему жителей Артиллерийской слободки и Хребта.

Юнгам было поручено обойти рабочие и флотские экипажи, Артиллерийскую слободку и Хребет и передать определенным лицам, с которыми, повидимому, поддерживалась постоянная связь, чтобы они начинали „бунт", как было условлено, в тот же день, тотчас после „шабаша", (т. е. к 7 час. вечера, времени окончания работ в Адмиралтействе), дав сигнал к нему набатом на соборной колокольне.

Доводы, которые юнги передали для убеждения жителей принять участие в восстании, были следующие: „Жители Корабельной слободки умирают с голоду, всех их хотят истребить или сослать в Сибирь и по этому они решили взбунтоваться, что, как возмущение начнется, в нем примут участие татары и арнауты (балаклавские греки) и кроме того турки пришлют из Константинополя свой флот, о чем им в свое время дано знать"[1].

Эти „доводы" чрезвычайно для нас интересны. Они, во-первых, вскрывают одну из причин восстания город-

[1] Хартахай. Цитир. соч., стр. 383. Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22. Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. команд. № 73 А.

ского населения и матросов: это—защита жителей Корабельной слободки, с частью которых, как мы видели, подготовлялась расправа за „буйственное поведение". С другой стороны,—последний довод о турецком флоте показывает, насколько глубока была ненависть к притеснителям, если призыв на помощь турок вожаки выставляли, как ободряющий аргумент для начала восстания. И мы видим, что эти доводы не только не оттолкнули матросов и городскую бедноту от участия в восстании, но наоборот, где бы юнги ни появились, всюду они встречали один ответ: „м ы г о т о в ы". О намерениях восставших масс прибегнуть к турецкому покровительству мы узнаем не только из показаний юнги Соловьева, но также и капитана Перекрестова, который об этом лично слышал от вожаков восстания. Наконец, об этом же мы находим сведения и в донесении управляющему военным министерством, где между прочим, говорится: „не послужит ли сия мысль (о помощи турок) к открытию самого плана злоумышленных" [1].

В город было послано пять юнгов—Алексей Соловьев, Василий Нечаев, Иван Стукалов, Василий Захаров и Конон Вялов, причем они предварительно собрались в доме Нечаева, где, повидимому, и получили все необходимые инструкции.

Перебравшись по одиночке через оцепление вдоль самого берега, они собрались в городе у плотников рабочего экипажа, главарем которых был, повидимому, Иван Никитин. Отсюда они разошлись по разным местам, согласно полученным указаниям. Так, юнга Нечаев направился в 33-й флотский экипаж, Вялов к котельщикам 18-го рабочего экипажа, где ему ответили: „хорошо, ступай", а Соловьев на Хребет, где он и был вскоре арестован во время выполнения своей миссии [2].

Будучи приведен к Сталыпину, Соловьев признался, что был послан от жителей Корабельной слободки, чтоб просить у городских жителей помощи для готовящегося возмущения, но подробностей данной ему инструкции не выдал.

Сведения, полученные от Соловьева, весьма обеспокоили Сталыпина, и он предпринял ряд мер предосторожности. Так, он послал к Херхеулидзеву просьбу прислать казаков, приказал поставить большой отряд пехоты на пересыпи, по которой шла дорога из города в Корабельную слободку и увеличил караул по городу, а Скаловскому было поручено все время наблюдать за настроением жителей Корабельной слободки.

[1] Лоция. Архив. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22, письмо управл. военн. мин-вом от 24/VI 1830 д, № 573.

[2] Лоция. Военн.-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 731 (к. № 49) и 80 51.

Таким образом весь гарнизон города был приведен в состояние боевой готовности, а всем офицерам вновь было приказано находиться безотлучно при своих командах. При этом, однако, начальникам отрядов и всем вообще офицерам не было дано никакой определенной инструкции, как им надлежало действовать в случае „бунта". Предполагалось, очевидно, что уже один вид вооруженных войск должен был предотвратить возмущение.

Вместе с тем самая бдительность севастопольских властей была направлена по ложному пути, что не мало способствовало успеху восставших. Начальство было убеждено, что все зло заключается в Корабельной слободке, что именно оттуда надо ждать начала „буйных действий", город же, который, по мнению начальства, мог лишь притти на помощь слобожанам, когда они начнут действовать, был оставлен без внимания.

Об опасности положения также судили по настроению жителей слободки, в которую несколько раз в течение дня ездил Скаловский. Но слобожане так отлично маскировали свои истинные настроения и намерения, что у властей создавалось впечатление, что 3 июня, по крайней мере, нечего опасаться каких-либо выступлений. Едва появлялся Скаловский на слободке, как вперед выдвигались женщины с детьми, которые жаловались, плакались на свою судьбу и вместе с тем уверяли, что они одного только хотят, чтобы их не выслали в лагерь, и клялись, что ничего решительно предпринимать не будут. А в то же время за их спинами мужчины готовились к началу „бунта".

Весьма интересно, что ровно за час-полтора до начала восстания Скаловский последний раз посетил слобожан и „видя их наклонность к исполнению приказания начальства, в 6 часов, оставя их, отправился к генерал-губернатору"[1], которого и заверил, что „жители настроены вполне кротко и клялись мне, что не нарушат цепь"[2], и что никаких выступлений в этот день можно не ожидать, после чего спокойно пошел к себе домой. Точно так же и генерал Примо говорит, что „около 7 часов пополудни он вышел из дому в полной уверенности на спокойствие города"[3].

О том, насколько „кроткое" поведение жителей Корабельной слободки совершенно успокоило начальство, можно судить по тому, что в то время, как на Хребте и в

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. фонд. корп. ком., д. № 81 о Севастоп. коменданте Турчанинове.

[2] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22, рапорт Скаловского Грейгу 5/VI 1830 г.

[3] Лоциа. Военно-ист. арх. Фонд корп. ком., д. № 75 военно-судное.

переулке против Адмиралтейства группировались уже толпы народа, Сталыпин вполне спокойно сидел за чайным столом со своими друзьями—генерал-майором Примо, Лангом, Верболозовым, чиновником особых поручений Семеновым и адъютантом Орлаем. Настолько у него и у всех его приближенных велика была уверенность в войсках и презрение к безоружной „черни".

Между тем, тактика руководителей восстания к тому и сводилась, чтоб отвлечь целиком внимание властей на Корабельную слободку, а восстание начать в городе, где его меньше всего ожидали.

События в городе шли в полном соответствии с намеченным планом и переданной из Корабельной слободки инструкцией. Активная готовность матросов и жителей Артиллерийской слободки и Хребта начать возмущение, неожиданно получила еще новый стимул, который не мог быть предусмотрен в „доводах" корабельцев. А именно, по приказанию Сталыпина стоявший на Хребте пикет из 6 человек для охраны его дома был увеличен до пятидесяти двух солдат. Появление большого вооруженного отряда на Хребте близ спуска к Артиллерийской бухте послужило поводом для агитаторов пустить слух, что начальство готовит новое оцепление Хребта и Артиллерийской слободки и если не взяться за него, то оно вскоре всех их переморит с голоду.

Об этом громко говорил в толпе, собравшейся около 7 часов вечера на Хребте, не стесняясь присутствия офицеров, один из активных участников восстания—писарь, который крикнул прибывшему сюда адъютанту Сталыпина поручику Орлаю: „И мы то же сделаем, что Корабельная слободка", а одна женщина кричала: „Скорее выпрем из них дух, нежели они нас запрут, наши слобожане не подгадят" [1]. Здесь же вел агитацию за бунт и фельдшер Цивилин. В этой толпе были кроме жителей Хребта и Артиллерийской слободки и матросы флотских экипажей.

Вторая толпа начала собираться в переулке, ведущем с горы к Адмиралтейству. Здесь также было у всех возбужденное настроение. Эта последняя толпа, когда во дворе Адмиралтейства были уже выстроены по окончании работ все мастеровые 17-го и 18-го рабочих экипажей, разделилась на две части. Одна вышла на большую, Екатерининскую улицу (теперь ул. Ленина) и направилась к Адмиралтейству, против которого был дом Сталыпина, а другая пошла к расположенной на той же улице несколько ниже соборной церкви.

---

[1] Лоция. Военно-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 75, военно-судное

Увидя подходящую к его дому толпу, генерал Сталыпин, наконец, понял, что начинается серьезное дело и спешно послал своего адъютанта Орлая привести во двор стоявший на Хребте отряд. Орлай, однако, увидя всюду возбужденные толпы народа, струсил и вместо того, чтобы пробиться к отряду, предпочел „спасать собственную шкуру", оправдываясь впоследствии тем, что „толпа окружила караул и нельзя было к нему проникнуть" [1].

Из другой толпы, направившейся к церкви, отделились две женщины, жены мастеровых 17-го рабочего экипажа Мария Гриченкова и Аграфена Тютюнина, и, схватив спускавшуюся с колокольни веревку, ударили в набат. Выскочивший на звон церковный сторож вырвал веревку из рук женщин и перерезал ее. Однако это не изменило положения, так как толпа с криком „ура" бросилась к дверям колокольни, выломала их и возобновила звон. Вскоре начался колокольный звон и в других церквах.

Услышав условленный сигнал для „бунта", на Екатерининскую улицу начали со всех сторон сбегаться матросы и жители Хребта и Артиллерийской слободки. При звуке набата и криках „ура" выстроенные во фронт во дворе адмиралтейства мастеровые 17-го и 18-го рабочих экипажей, несмотря на попытки офицеров удержать их, наскоро вооружились топорами, ломами, швайками и просто дубинами и, сломав замок на воротах, выбежали на улицу, выстроившись против дома Сталыпина. В это время из ворот Сталыпинского дома вышел генерал Примо, посланный генерал-губернатором „уговорить" толпу. „Уговоры" были коротки. Не успел генерал открыть рта, как толпа вместе с мастеровыми 17-го и 18-го рабочих экипажей хлынула на него с криком „ура". Одна из женщин, вдова комиссара Дарья Семенова, сорвала с генерала погоны и ударила его, после чего Примо, забыв о своем начальнике, бросился бежать, а часть толпы подошла к воротам Сталыпина, взломала их и ворвалась в дом. Бывшие у Сталыпина его приспешники—Ланг, Верболозов и чиновник для особых поручений Семенов, видя печальный исход „уговоров" генерала Примо, поспешили убежать, оставив своего начальника на произвол судьбы. При этом Верболозов просто „честно" удрал, а Семенов, с которым Верболозов убегая столкнулся, увидя последнего, с пафосом крикнул ему: „Если умирать, так умрем вместе с генералом"[2], и направился было в комнаты. Однако как только Верболозов скрылся, убежал вслед

---

[1] Там же, д. № 79, воённо-судное.
[2] Там же, д. № 75, военно-судное.

за ним и этот последний „храбрый“ защитник генерал-губернатора.

Ворвавшаяся в комнаты толпа схватила ненавистного начальника, от имени которого исходили все бесчеловечные приказы и по личному приказу которого был на месте без суда расстрелян матрос Полярный, сбросила его с лестницы во двор и здесь убила, после чего выволокла труп на улицу, где он оставался до другого дня.

В это же время вторая часть толпы с мастеровыми 17-го и 18-го рабочих экипажей бросилась к закрытым воротам расположенных вблизи казарм 29-го флотского экипажа.

Согласно приказа флотского начальника все командиры и офицеры находились при своих командах. Узнав о начале волнения в городе, командиры экипажей выстроили матросов во фронт, произнося перед ними патриотические речи о долге присяги, повиновении начальству и преданности царю. Однако речи эти не вызвали у матросов ожидаемого эффекта и, как признается командир 39-го флотского экипажа Эсмант,—„увещевания, судя по молчанию матросов, действовали слабо“ [1]. Офицерам оставалось, не надеясь на увещевания, попытаться держать матросов во фронте, рассчитывая, что привычная фронтовая дисциплина поможет удержать их от выступлений. Однако и этот расчет не оправдался, и как только толпа подошла к воротам 29-го флотского экипажа, матросы, расстроив фронт и взломав замок на воротах, бросились на улицу и, соединившись с мастеровыми, устремились к казармам 38-го и 39-го флотских экипажей. Матросы последних так же стояли во дворе казарм, выстроенные во фронт под охраной своих офицеров. Здесь офицерам, повидимому, удалось запугать матросов, так как первая партия матросов 29-го экипажа, ворвавшаяся к ним с призывом присоединиться, вначале успеха не имела и ушла, заявив, как показал командир экипажа Эсмант: „Если вы не хотите присоединиться к вашим братьям или слушаете своих командиров, оставьте их, подлецы, пойдемте с нами, а то приведем больше народу и тогда вас перебьем“ [2]. И действительно, через небольшой промежуток времени пришла вторая партия, вооруженная дубинами, кольями и пр., увидя которую, матросы расстроили фронт и с криком „ура“ бросились в казармы к пирамидам с ружьями. В то время, как часть пришедших погналась за офицерами, которые все обратились в бег-

---

[1] Лоциа. Военно-ист. архив. Фонд. корп. ком., д. № 85.
[2] Там же.

ство, остальные вместе с матросами 38-го и 39-го экипажей начали вооружаться ружьями. Из всех офицеров в казармах остался один мичман Макаров, который, спрятавшись здесь, занимался соглядатайством и впоследствии был главным свидетелем обвинения против своих матросов.

Таким образом выходит, вопреки показаниям Эсманта, что матросов 38-го и 39-го экипажей удерживали от выступления не уговоры офицеров, а внушенный ими страх. И как только они увидели, что сами офицеры струсили перед вооруженной одними дубинами толпой, страх перед ними, вбитый палочной дисциплиной, рассеялся, и они приняли самое активное участие в дальнейших событиях у Корабельной слободки. Попытка Эсманта объяснить, что его матросы были вовлечены угрозами „бунтовщиков", не выдерживает ни малейшей критики. Если бы матросы 38-го и 39-го экипажей просто испугались угроз пришедшей группы матросов и мастеровых, то навряд ли этот „испуг" проявился бы в такой форме, что они сначала бросились за ружьями. И еще более непонятно было бы поведение матросов этих экипажей (если поверить Эсманту), если бы, вооружившись ружьями, они побоялись толпы, вооруженной одними дубинами и кольями.

Самую речь первой группы пришедших матросов Эсмант изложил в слишком „вольной" и выгодной для себя передаче. И более соответствует всему дальнейшему поведению матросов 38-го и 39-го экипажей, что и эпитет „подлецов", и угроза перебить относилась не к матросам этих экипажей, а к охранявшим их офицерам. Так именно и передается это обращение в показаниях матросов.

Захватив ружья со штыками и патронные сумки, матросы 38-го и 39-го экипажей, снабдив оставшимися ружьями пришедших к ним на помощь матросов 29-го экипажа, бросились по направлению Корабельной слободки, увлекши за собою по пути и часть 16-го рабочего экипажа.

В то время, как происходили описанные события во флотских экипажах, толпа, бывшая на Хребте, поймала Скаловского и потащила его по направлению к собору, где один из матросов пытался заколоть его ножом. Но сильно потрепанному Скаловскому удалось вырваться и вбежать в каре солдат орловского батальона, подошедшего к этому времени с комендантом города генералом Турчаниновым и другими офицерами.

После убийства Сталыпина бывшие в его доме бросились к известному уже нам по „увещевательной" деятельности на Корабельной слободке соборному протоиерею Софронию Гаврилову, дом которого был недалеко на Екатерининской же улице. Увидя подходившую к дому толпу,

протопоп быстро сообразил, зачем она идет, и поспешил облачиться в церковные ризы в расчете защитить свою жизнь воздействием на религиозные чувства народа. Эту встречу со своей „паствой" в не совсем обычной обстановке сам Гаврилов описывает такими словами: „Люди, разбив ворота, вторглись во двор и с буйным шумом шли ко мне в дом, имея в руках своих дубины и камни. Услышав крик требования меня, надел епитрахиль и ризы, взял евангелие и крест, вышел к ним, спрашивая, что им надо. Они, окружив меня, отвечали: „Мы пришли тебя убить!" Но какой-то матрос с георгием и другой унтер-офицер до того не допустили. (И на свою голову, так как самое заступничество за протоиерея как раз и послужило на суде уликой участия их в восстании.—*А. П.*). Я спрашивал, за что хотят меня убить. Отвечали: за то, что был в Корабельной бухте, увещевал и ни в чем не помог в их мучениях. Взяв из двора, вывели на улицу, приготовлялись убить, от чего вторично теми двумя спасен был... В толпе мятежников я заметил отставного офицера, служившего в Севастопольском артиллерийском гарнизоне, который поощрял мятежников к исполнению. Покуда довели до собора несколько раз решались убить меня. Введя в собор, пустили самого в алтарь, требуя служить молебен, после которого они намерены искать, кого им нужно и предать смерти, отчего я их удерживал и отказался служить. Напоследок, видя, что я на таковой дерзкий и законопреступный поступок молебствия не служу, с угрозами настояли дать им подписку, что здесь чумы нет, после многих отказов, вынужденным нашелся, к удалению их из церкви дать бумагу... После этого в алтарь из беззаконной шайки ворвались шесть человек и начали искать по углам, по словам их контр-адмирала Скаловского. Толпа мятежников обругала меня дерзкими и постыдными словами, тут же подтвердила мне на другой день быть в соборе и служить молебен. Потом, говорили они, взяв благословение, пойдем по городу косить, а на другой день убьем и всех лекарей"[1].

Протоиерей Софроний умалчивает здесь, что толпа, забыв всякое уважение к его „священному" одеянию, начала рвать на нем ризу, когда с ним не оказалось ключа от церкви, что толпа сама взломала церковные двери, что „масса хлынула в церковь и, не соблюдая особенного благочиния, подобающего храму божьему, с шумом ворвалась в алтарь, куда повела и духовенство"[2].

---

[1] Записка прот. Гаврилова. Русск. архив, 1867 г. № 11.
[2] Хартахай. Цитир. сочин., стр. 388.

Однако Софроний, действительно вымолив на коленях разрешение не служить молебен на убой, тем не менее, как мы усматриваем из его собственных слов и свидетельства Хартахая, дал благословение на убой, после чего толпа, вновь разделившись, бросилась в город, имея моральное оправдание расправы с теми, кто „выдумал чуму" в виде подписки, отобранной у Софрония и других попов о том, что в городе чумы нет и не было. Подписка, отобранная у Софрония, гласит следующее: „1830 года июня 3 дня сим свидетельствую, что в гор. Севастополе нет чумы. Сие писано в алтаре в 9-м часу пополудни. Протоиерей Софроний Гаврилов". Дальше приписано: „и не было, протоиерей Софроний Гаврилов". Ниже приложена сургучная печать Гаврилова, изображающая женщину с весами (Фемида?) и надписью „Вся моя надежда". После печати следуют еще приписки: „Иеромонах Пахомий. Диакон Георгий Булашевский. Духовник протоиерей Кириак Трапезаров. Священник Иосиф Конопотков". И далее:

„По требованию Доброй партии подписано подп. И. Вербовский": „Градской голова Васил Носов"[1] (подчеркнуто мною.—*А. П.*). Сургучная печать Носова, изображающая корабль солнце и военную арматуру.

Такого же рода подписки были отобраны от коменданта города генерал-адъютанта Турчанинова и контр-адмирала Скаловского, а также от нескольких „почетных" купцов, не внесенных в список подлежавших убийству. Тексты этих подписок мы приводим.

„1830 года, июня 3 дня, мы нижеподписавшиеся г. Севастополя даем сию расписку в том, что в г. Севастополе чумной заразы нет и не было, в том свидетельствуем своим подписом. Севастопольский 3-й гильдии купец Степан Гах, купеческий сын Дмитрий Мажарин и Кременчугский мещанин Петр Горбатов"[2].

„Расписка. 1830 года, июня 3 числа мы нижеподписавшиеся даем сию расписку жителям города Севастополя в том, что в г. Севастополе не было чумы и нет, в удостоверение чего подписуемся. Контр-адмирал Скаловский. Комендант ген.-лейтенант Турчанинов"[3] (две сургучные печати).

На естественно возникающий вопрос, для чего, собственно, вожакам восстания понадобилось отбирать подписки о

---

[1] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. командир. Следственное дело о 39 подсудимых № 73 А.

[2] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд. корп. ком., д. № 80/41.

[3] Лоция. Военно-ист. арх. Фонд. 9, д. № 31 о севастопольском коменданте Турчанинове.

несуществовании чумы, в которую они сами не верили, напрашивается следующий ответ. Этот своеобразный „юридический" документ, нужен был им ,повидимому, для того, чтобы иметь „законное" моральное оправдание убийства тех лиц, внесенных в составленный 2 июня на „Совете" список (как об этом говорит Хартахай), которые, по общему мнению, были главными виновниками в „изобретении" „карманной чумы", или же грабили и угнетали народ, наживаясь на ней. „Оформив" таким образом свое право на казнь, соединившиеся у церкви отряды вновь разделились и пошли по домам осужденных на „Совете" лиц.

Что же делалось в это время на Корабельной слободке? Вооруженные силы слобожан, которыми командовал Кузьмин, были, как мы сказали выше, разделены на три отряда под командованием квартирмейстера Тимофея Иванова, отставного квартирмейстера яличника Кондратия Шкуропелова и унтер-офицера Пискарева.

Когда из города долетели звуки набата и крики „ура", эти отряды начали наступление на окружавшие слободку отряды войск, находившиеся под общим командованием бригадного командира полковника Воробьева. Последний построил свои отряды в боевой порядок лицом к слободке и, выдвинув вперед пушки, приказал держать наготове у запалов зажженные фитили.

Однако отряды слобожан на самом деле не имели ввиду вступать в бой с правительственными войсками, а лишь „делали вид, что хотят напасть на цепь, приблизившись на 15 шагов" [1]. Воробьев в свою очередь не начинал наступления на отряды слобожан, и между сторонами начались длительные переговоры.

Вероятнее всего, что выжидательная тактика слобожан была заранее предусмотрена вожаками восстания и объяснялась слабостью их вооружения. У населения слободки могло оказаться лишь оружие, отобранное и сложенное в хате на слободке под охраной часового после выступления Полярного. Но оно состояло главным образом из холодного оружия, пистолетов и очень незначительного количества ружей. Этим оружием, сложенным здесь непредусмотрительным начальством, слобожане, конечно, и воспользовались. Но с ним совершенно безнадежно было бы выступать против нескольких батальонов солдат с пушками, учитывая, что еще один большой отряд занимал узкую пересыпь у Каторж-

[1] Лоциа Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22. Рапорт высоч. учрежденной следственной комиссии № 891.

ной слободки, которая служила единственным путем сообщения с городом. На слободке, ведь, не было даже такого „оружия", как колья и дубины, так как все деревянное там пошло на топливо. Поэтому вполне естественно, что замысел вожаков и мог состоять в том, чтобы все внимание начальства и все вооруженные силы города отвлечь на Корабельную слободку, убеждая власти своими действиями, что восстание может угрожать только отсюда. Вероятно, с этой целью и делалось на слободке довольно открыто обучение отрядов и установление своих пикетов в наиболее опасных местах. А в то же время начало восстания назначили там, где его менее всего могло начальство ожидать, т. е. в городе, учитывая, что почти все наличные силы гарнизона—пять батальонов—стянуты к слободке, а в городе оставались лишь караулы.

При таком положении успех восстания в городе был бы обеспечен. А, захватив оружие, матросы и мастеровые должны были притти на помощь Корабельной слободке, произведя нападение на войска с тыла. Если наши предположения, основанные на фактах, которые иначе трудно объяснить, правильны, тогда надо признать, что тактика эта при данной обстановке была действительно наиболее целесообразной.

Такое неопределенное, но весьма напряженное положение сохранялось до тех пор, пока со стороны города не показалась бегущая с криком „ура" толпа матросов 29-го, 38-го и 39-го экипажей с ружьями наперевес, с примкнутыми штыками и мастеровых 17-го и 18-го рабочих экипажей с кольями и ломами. Подбежав к выстроенным в каре батальонам, матросы закричали: „Солдаты, выдайте нам своих начальников, то мы вас не тронем", и затем по адресу офицеров: „Что же вы не открываете огонь? после чего внезапно бросились на фронт"[1].

Полковник Воробьев приказал солдатам открыть огонь по наступающим матросам и мастеровым, а канониру Елисеенко стрелять из пушки.

Выстрелили только некоторые из солдат и то вверх, а канонир вовсе не стал стрелять, бросив горящий фитиль на землю. Одновременно на солдат напали с тыла слободские отряды.

Дело закончилось очень быстро. Расстроив фронт солдат, восставшие ворвались в середину каре и начали вырывать у солдат ружья, крича им: „Где ваши начальники и какие они для вас, если хорошие—не тронем, если плохие—убьем"[2]. Солдаты выдали полковника Воробьева,

---

[1] Лоциа. Военно-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 22 (по особой описи).
[2] Там же.

который тут же был убит, а за штабс-капитана Перекрестова заступились, говоря, что он был для них хорош, также и за констапеля Саблина. Часть солдат начала брататься с матросами и жителями слободки и присоединилась к слободским отрядам, а часть, оставшихся нейтральными, была вместе со штабс-капитаном Перекрестовым арестована и отведена в дом Тимофея Иванова, который являлся как будто главным центром восстания, так как сюда всю ночь приходили и уходили матросы, сюда помещали арестованных на слободке и сносили отобранное у грабителей имущество[1].

Посмотрим теперь, как эти же события описывает Хартахай. Вопреки всем официальным материалам Хартахай излагает их совершенно искаженно. Он пишет: „Пробило 7 часов и о снятии цепи нет никакой вести. Тогда толпа начала суетиться, волноваться, заявила свое намерение прорвать цепь, выставляя вперед себя малолетних детей и грудных ребят... Боевой порядок, которому Кузьмин обучал оцепленных, ни к чему не послужил, потому что женщины взялись за свое обычное оружие—рыдание и вой—и, защищаясь своими детьми, напирали на цепь массою... Выставляя детей под выстрелы, женщины, конечно, рассчитывали подействовать на солдат, и действительно, когда бригадный командир дал знак стрелять, то они были в недоумении, куда направить выстрелы, и пустили первый залп в воздух... Оставалась одна надежда на пушки, но и в этом случае канонир Елисеенко отказался стрелять в детей, и таким образом Воробьев очутился в руках бунтовщиков“[2].

Этой выдуманной сценой Хартахай старается оправдать название своей статьи—„Женский бунт в Севастополе“ и, сознательно искажая факты, изображает начало восстания, как неожиданный прорыв цепи „воющими“ женщинами и детьми. Также вопреки официально удостоверенным фактам он искажает и дальнейший ход событий, утверждая, что сигнал (колокольный звон) дали слобожане и что слободские отряды начали восстание и в городе, придя туда с трех сторон. Все это надо было Хартахаю, чтобы умалить значение Севастопольского восстания, сведя его к „бунту“ жителей Корабельной слободки, преимущественно женщин и детей.

В доме Иванова, куда были отведены арестованные офицеры и солдаты, не присоединившиеся к восстанию, произошел весьма знаменательный разговор одного из руководителей восстания с Перекрестовым. Когда он си-

---

[1] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. 73 А.
[2] Хартахай. Цитир. соч., стр. 384.

дел под арестом в доме Иванова, сюда вошел некий боцман, сообщая последнему, что бригадный генерал уже убит и теперь надо итти в город, где „еще много осталось таких, с которых надо чуму выгнать". „Увидя меня,— показывает Перекрестов,—боцман сказал: „А здравствуй, ваше благородие, и ты здесь! Ты не скоро от нас вырвешься". Взяв меня за руку, говорил тихо: „В городе теперь все за нас, скажи, что завтра начать. Можно, кажется, все сделать, особливо, давши знать только в Константинополь, сейчас турки с флотом здесь будут"[1]. Перекрестов умалчивает о своем ответе, но предложения, сделанного ему, он не принял и через некоторое время, пользуясь доверием к себе (которое видно из того, что ему позволяли выходить во двор), ушел с частью своих солдат за город в лагери. Перекрестов, чтобы как-нибудь затушевать, по меньшей мере, странное, с точки зрения следственных властей, „доверие," оказанное ему предводителями восстания, передает беседу и не полно и не совсем точно. В одном официальном документе прямо указывается, что „спасшие от буйства штабс-капитана Перекрестова боцман Чадов и квартирмейстер Иванов Тимофей, озабачиваясь будущностью оного преступного предприятия, предлагали ему принять над ними начальство, имея в виду послать туркам предложение занять Севастополь. Не послужит ли сия мысль к открытию самого плана злоумышленников"[2].

Таким образом, речь шла не о простой „консультации" („что делать на завтра"), а об определенном предложении принять на себя командование восставшими.

Весь характер разговора даже в передаче Перекрестова наводит на мысль, что Чадов и Перекрестов были уже [illegible]е знакомы, иначе совершенно было бы непонятно [illegible] обращение Чадова: „А, здравствуй, ваше благородие, и ты здесь...", так и предложение о принятии на себя командования. О том, что Перекрестов каким-то образом был связан с руководителями восстания, подтверждает и все его поведение во время допроса следственными властями, которым он заявил, что не может узнать никого из участников восстания и отказался признать в лицо боцмана, делавшего ему предложение о командовании, приведшее военно-судную комиссию к заключению, что „поступки его во всем весьма подозрительны" и в частности в том, что он „находился всю ночь в квар-

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. команд. д. № 73 А.

[2] Лоциа. Архив народного хозяйства. Фонд адм. Грейга. д. № 22. Рапорт управляющему военным министерством № 537.

тире Иванова, но указать никого из преступников не мог"[1]. Возможно, что некоторые из оппозиционно настроенных младших офицеров, затронутых идеями декабристов, знали о готовящемся восстании, а, быть может, даже так или иначе участвовали в его подготовке, но в решительную минуту, когда надо было не только „советовать", но и самим действовать, принимать на себя руководство восстанием и команду над людьми, ненависть которых к существующим порядкам доходила до решимости вступить в союз с турками (чего, конечно, не было у самого радикального офицерства),—они пошли напопятный и предпочли сохранить нейтралитет. О прикосновенности некоторых офицеров к восстанию или сочувствии ему мы находим в следственных делах ряд и прямых и косвенных подтверждений. Так, например, юнга Соловьев, один из пяти „делегатов" слободки к горожанам, который был, несомненно, в курсе многих дел в период подготовки восстания, показал на следствии: „Из уговаривающих к бунту известны мне комиссар Батищев и еще два офицера, которых могу узнать в лицо" [2] и в другом месте показывает, что еще 31 мая на слободку приходил какой-то офицер „в веснушках" и побуждал не слушать карантинных начальников [3].

Начальник южного округа по артиллерийской части ген-лейт. Сиверс 2-й прямо утверждает в своем рапорте о событиях: „Скорое собрание сих злодеев и некоторый план их действий доказывает, что заговор не токмо прежде уж сделан был, но я даже мыслить должен, что между ними находились и чиновники, управлявшие буйственными этими планами" [4].

Лейтенанта Энгельгардта, который, переодевшись в платье денщика, с обнаженным палашом в руке водил по дому вице-адмирала Патаниоти толпу, искавшую его, чтобы убить, и настойчиво расспрашивал у его брата, куда спрятался адмирал (якобы для его спасения)—военно-судная комиссия признала виновным в участии в восстании и приговорила к смертной казни и лишь в высшей инстанции наказание было значительно смягчено по недостаточности улик „о намерениях", с какими Энгельгардт участвовал в обысках.

Не менее „подозрительны" были и действия капитана Матусевича и капитан-лейтенанта Черняева, за которые первый был приговорен на 2 года в заточение, а второй

[1] Лоциа. Морской архив. Дело № 100.
[2] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корпусн. команд. д. № 80/38—40.
[3] Лоциа. Военно-истор. архив. фонд корп. ком. Дело № 81, ч. 5-я.
[4] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.

разжалован в матросы. 6 июня Матусевич, находившийся под судом „за буйственные поступки“ и содержавшийся под арестом в военной гавани, отправился вместе с Черняевым (который в этот день был как раз караульным начальником флота), на Корабельную слободку „под видом осмотра разоренных домов, где пробыли до $2^1/_2$ часов, но на самом деле навещая некоторых жителей“ [1].

По показанию протоиерея Софрония—находился в толпе и требовал его смерти отставной офицер, служивший в артиллерийском гарнизоне [2]. Прапорщик Кулаков прямо обвинялся в том, что присоединился к матросам около Корабельной слободки с пятнадцатью своими солдатами [3], а прапорщик Критилин—„в ложном показании, что его мастеровые в ночь бунта пришли в казармы фронтом и он им делал проверку, на самом же деле не был вовсе в казармах своего (18-го) экипажа“ [4].

Об этом офицере один из свидетелей прямо говорит, что он, „придя к своей сестре, с восхищением говорил о буйственном поступке рабочих людей и сообщил об убийстве Сталыпина“.

Точно так же и прапорщик Дмитриев был обвинен в том, что „скрыл истину о ненахождении и не ночевавших в казарме мастеровых, тогда как сам там был“ [5].

Не исключена возможность, что некоторые из офицеров—активных участников подготовки восстания—могли остаться не выявленными, если они не принимали непосредственного участия в самом восстании. О значительном же количестве неблагонадежных офицеров, высылавшихся из Балтики в Севастополь, мы имеем сведения [6].

Три слободских отряда с присоединившимися к ним матросами и солдатами прежде всего пошли по домам лиц, живших на слободке, которых должно было убить согласно составленному списку. Отряд Шкуропелова направился к дому чиновника Степанова, одного из чумных комиссаров, ненавистного слободской бедноте вследствие его беззастенчивого обирательства жителей.

Дом Степанова был весь разгромлен, а сам Степанов, спрятавшийся на чердаке, выдан своим денщиком и убит на месте.

---

[1] Лоциа. Мор. ист. архив. Архив мор. мин-ва № 1359, д. № 230 о преданных военному суду штаб-офицерах мор. вед. Конфирмации Воронцова.
[2] Записка протоиерея Гаврилова. „Русск. архив“ № 11. 1867.
[3] Лоциа. Военно-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 80/56—57.
[4] Лоциа. Военно-ист. архив. Архив мор. мин-ва № 1549 (721).
[5] Лоциа. Военно-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 75 военно-судное.
[6] Д. М. Афанасьев. К истории черноморского флота. „Русск. архив“ № 3, 1902 г.

Отряд Пискарева направился в лавку и квартиру торговца Попова. Найдя Попова, Пискарев приказал заколоть его штыками, но тот бросился на колени и умолял пощадить ему жизнь. Пискарев пощадил его и отправил вместе с другим купцом, Зотовым, под арест в дом Иванова.

Наибольшей ненавистью слобожан пользовался, повидимому, поп Кузьменко, так как к нему в дом приходили, чтоб убить, последовательно все три отряда, разгромившие всю квартиру. Но предусмотрительный поп, хорошо знавший, очевидно, свои грехи перед „духовными детьми", заблаговременно спрятался в церкви так хорошо, что приходившие сюда с обыском не нашли его, а затем, пользуясь темнотой, переодевшись убежал в город, где и скрывался до следующего дня.

Насколько велика была ненависть народа к этому попу, видно из того, что отряды приходили к нему пять раз, угрожая смертью даже его жене, если она не скажет, где спрятался муж, и в конце концов взяли ее с двумя дочерьми в качестве заложников и посадили в дом Иванова.

Произведя расправу на слободке, все три отряда соединились и пошли в город через Павловский мысок, где выдерживал карантин лекарь Шрамков вследствие того, что был жителями слободки привязан к умершей женщине, которую он сам признал чумной. Жители слободки и в особенности женщины не забыли про своего мучителя и свернули к зданию госпиталя, где он помещался, чтобы расправиться с ним. Но он, очевидно, подготовился к нападению, сильно забаррикадировавшись, и слобожане решили оставить его в живых, „чтоб не ломать казенного здания", как показывают свидетели.

Хартахай, недобросовестно используя бывший в его распоряжении материал, явно клевещет и на „Добрую партию" и на отряд Шкуропелова, заявляя, будто они в городе прежде всего бросились в кабаки и напились. Это—явная ложь: из архивных дел видно, что разбивались бочки с целью не питья, а уничтожения вина и самими „бунтовщиками" и в самом начале полицией, пока она не сбежала. Нигде в официальных донесениях и описаниях событий мы не находим упоминания о том, чтобы отряды, приходившие с обыском или громившие имущество ненавистных им офицеров и чиновников, были пьяны. А уж этого конечно не забыли бы указать в своих донесениях перетрусившие градоправители, вообще не щадившие черных красок на характеристику этих, по их словам, „бунтовщиков и убийц". Наконец, и в показаниях самих пострадавших от восстания и свидетелей встреча-

ются указания всего лишь о нескольких лицах на несколько тысяч участников восстания, что они „были выпивши". И наоборот, мы видим, что даже сознательная попытка некоторых из купцов напоить приходившие к ним отряды, чтоб отделаться от ареста, не имела никакого успеха. Так, купец Попов показал, что, спрятавшись сначала у соседей, он вернулся к полночи с купцом Труховским в свою лавку, в которую „около $12^1/_2$ ч. ночи начала стучаться дубинами толпа, чтоб выходили, я вышел и предложил водки или чего другого, но они потребовали только итти с ними и повели к дому подполковника Вербовского"[1]. Хартахай допускает явное искажение фактов в целях дискредитирования восстания, как сделал он это и в описании событий на Корабельной слободке, приписав прорыв цепи вопреки всем официальным донесениям не вооруженным матросам, а безоружным женщинам и детям.

К тому времени, когда отряды слобожан пришли в город, городские отряды уже расправились с некоторыми лицами, которые значились в списке. Было избито несколько офицеров в том числе и плац-адъютант Родионов, которому отрубили ухо.

Он был пойман на улице и лишь случайно остался живым. Когда он попытался спрятаться во дворе Быченской, то был выгнан унтер-офицером, сказавшим: „Пусть вас всех перебьют"[2]. Озлобление против плац-адъютанта вполне объяснимо, так как именно он привозил на Корабельную слободку приказ Сталыпина стрелять в жителей слободки.

Труднее всего спасаться пришлось Верболозову, так как ненависть к нему была беспредельна во всех слоях населения. Переодевшись в денщицкое платье, Верболозов бросился на 10-ю батарею. Но офицеры батареи, на которой уже пряталось несколько офицеров с семьями, просто прогнали его, сказав, что из-за него и их могут убить, и пусть уж сам спасается, где и как может. Верболозов убежал в военный порт, назвавшись караульному унтер-офицеру матросом. Однако унтер-офицер, повидимому, узнал его и посадил под арест в караулку, сказав: „видно, что вы за матрос". Не помог и пришедший в караулку командир Щербаков, удостоверивший, что „это наш доктор" и просивший его освободить. Унтер-офицер отказался подчиниться своему командиру и согласился лишь перевести Верболозова в офицер-

[1] Лоциа. Военно-ист. архив. Фонд. корп. ком., д. № 89.
[2] Хартахай. Цитир. соч., стр. 386.

скую караулку. Так же неудачна была попытка освободить Верболозова со стороны капитан-лейтенанта Потемкина, („часовой не пустил, а унтер-офицер препятствовал"). Так он провел здесь под арестом, дрожа за свою жизнь, всю ночь, пока не удалось утром переправиться на Северную сторону [1].

Весть о том, что началось всеобщее восстание, чрезвычайно быстро облетела город, и все, кто чувствовал за собой вину перед восставшим народом, начали поспешно прятаться или убегать из города.

В список лиц, подлежавших казни, было внесено около сорока человек, из них было убито четыре, а остальные успели спрятаться или бежать из города. Первыми убежали все полицейские чины, начиная с полицмейстера Грушецкого.

Отряды восставших между тем последовательно обходили все дома лиц, внесенных в список, и, не находя их, ограничивались полным разгромом имущества, а зачастую и самих домов. Таким образом, было разгромлено всего 42 квартиры. Разгрому подвергались квартиры не только высшего военного и карантинного начальства и наиболее ненавистных врачей, но также и купцов и комиссионеров, наживавшихся во время карантинного оцепления на скупке и перепродаже втридорога продуктов питания. Так из общего количества 42 разгромленных квартир на долю офицерских, генеральских и адмиральских приходится 14, карантинных чиновников и врачей 11, купеческих 7 (русских, евреев и греков), продовольственных комиссаров и комиссионеров 6. Несколько купцов было арестовано, как, например, Попов, Зотов, Лушников, Гущин, и др. Необходимо отметить, что за все время разгрома квартир, а равно и позже во время поисков офицеров организованные отряды вовсе не допускали грабежей.

Вожаки отрядов зорко следили, чтобы не брали ничего из квартир, а с теми, кто был уличен в грабеже, жестоко расправлялись. И действительно, как удостоверяет прислуга многих домов, „бунтовщики все громили, но из вещей ничего не трогали". „Изломали лишь кортик адмирала и порвали шляпу, — показывает денщик вице-адм. Патаниоти—бунтовщики закричали: „не трогать ничего из имущества"... [2] А когда была поймана одна женщина с узлом вещей, украденных в квартире ген. Примо, то она была схвачена, приведена во двор Примо со связанными назад руками и высечена на месте преступления. „У дома Эсманта,—показывает

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 75, военно-судн.
[2] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд. корп. ком., д. № 57 о лейт. Энгельгардте.

писарь Артамонов,—я встретил толпу, которая вела связанную женщину в дом Примо для наказания за кражу, и наказали ее линьками по решению толпы, наказывали женщины, которых было множество, а вещи в узле вручили человеку Примо"[1].

К 10 часам вечера уже весь город был в руках восставших, чему не мало способствовало пассивное поведение пехотных частей как находившихся в оцеплении Корабельной слободки, так и в городских караулах. Большинство офицеров не надеялись на свои части, а некоторые из них, повидимому, и сами не имели особого желания впутываться в дело. В некоторых же командах солдаты прямо заявили своим офицерам, что „стрелять в бунтовщиков не будут". Так в ответ на слова начальника военного порта капитан-лейтенанта Потемкина, обращенные к солдатам: „Когда придут бунтовщики, мы их встретим, как велит долг чести и присяги государю",—выступил вперед унтер-офицер и сказал: „В кого стрелять?" „В бунтовщиков, в баб",—ответил Потемкин. „Мы здесь турок не видим,—возразил унтер-офицер,—они нас не тронут и стрелять в них не станем. Мы знаем, кого они ищут,—прибавил он,—лекарей"[2].

Эта взаимная уверенность, что бунтовщики не тронут солдат, а солдаты не будут стрелять в восставших, очень быстро распространилась по городу. „По улице некоторые бежали и говорили: они надеялись на солдат, но где мы ни появлялись, солдаты нам дают дорогу"[3]. И действительно, как только матросы появились у Корабельной слободки, три роты из оцепления со своим командиром снялись и пошли в лагерь. Также оставили свой пост и ушли в лагерь, видя бегущих матросов, 200 солдат и 6 офицеров 22-го Егерского полка, стоявшие для охраны между городом и слободкой и 374 солдата и 7 офицеров Севского полка. Отряд в 52 человека на „Хребте беззакония" стоял в полном бездействии, когда толпа срывала эполеты со штаб-офицеров и шла громить дом Сталыпина. Рота солдат под командой двух поручиков, стоявшая у самой пересыпи, не помешала вовсе бежавшим мимо нее к слободке матросам и мастеровым. Когда у собора толпа рвала эполеты со Скаловского и таскала его, полковник Пустошкин, командовавший выстроенным здесь в каре отрядом, отменил приказание майора Жарова взять ружья наперевес, мотивируя это тем, что бунтовщики шли мимо, не трогая солдат. Это произошло

[1] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 80/25 и № 89.
[2] Лоция. Военно-истор. архив. Фонд корп. команд., д. № 75, военно-судное
[3] Там же.

на глазах находившегося здесь же коменданта города ген.-лейт. Турчанинова[1].

Отдельные мелкие отряды и караулы также или оставались пассивными зрителями происходивших событий, или же уходили со своими офицерами за город.

Все эти и ряд других фактов вынудили „высочайше учрежденную комиссию" под председательством Воронцова констатировать в своем донесении царю, что „военные посты с заряженными ружьями смотрели на убийц, как бы на людей, отправлявших правое и похвальное дело"[2].

Однако и после ухода большинства пехотных частей за город в распоряжении командования оставались еще значительные военные силы, доходившие до девятисот человек при трех орудиях, а именно: 450 человек Орловского полка, 150 человек 31-го флотского экипажа и 260 матросов, свезенных с корабля „Иоанн Златоуст", на котором собрались почти все бежавшие из города флотские офицеры. Полная растерянность оставшихся в городе представителей высшего командования и боязнь, что в случае приказа открыть огонь и эта последняя защита покинет их или обратится против них, а у некоторых и сознательное нежелание ввязываться, привели к тому, что восставшие нигде не встретили себе противодействия. Убежденность, что восстали жители всех слободок и вся городская беднота и что будут убивать офицеров лишали последнего мужества немногих оставшихся в городе представителей власти.

Между тем события в городе действительно начали выходить за пределы первоначально намеченного плана, по которому должны быть убиты только лица, помещенные в список, составленный на Корабельной слободке 2 июня. В самом начале так и было. И отряды, искавшие по квартирам этих обреченных смерти, находя там других офицеров и чиновников, не только их не трогали, но даже успокаивали. „К моей квартире,—показывает правитель дел медицинского совета Сенюшкин,—подошла толпа, один что-то читал, держа лист бумаги, толпа закричала „ура" и пошла к соседу капитану 3-го ранга Кошкину, которого искали, а не найдя его, все изрубили и изорвали. Потом пришли ко мне три матроса со свечами и дрючками, женщина с кочергой и симферопольский мещанин кривой на один глаз. Спросили меня: „Вы Кошкин?" Я сказал: Нет, я приезжий офицер". „Ну, ваше благородие,

[1] Лоциа. Военно-ист. архив. Высоч. конфирм. доклады с авг. 1830 г. по янв. 1831 г.

[2] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21, донесение высоч. учр. ком.

будьте спокойны, мы вас не тронем, нам нужно истребить только чуму". Вошло со двора еще человек 20, всюду обыскали, ища Кошкина, и ушли"[1].

Однако первоначальное намерение „выбить чуму" из высших начальников, чиновников и спекулянтов, уже в значительной мере выполненное, сменилось вскоре новой задачей, стихийно возникшей среди матросов и присоединившихся к ним солдат и выраженной в лозунге, быстро облетевшем весь город: „бей и убивай всех офицеров и генералов". Лозунг этот был подхвачен массами с большим воодушевлением, как свидетельствует кап.—лейт. Стафопуло, который „уже не слыхал ничего другого, как бей и коли офицеров". Это же единогласно подтверждают и другие свидетели из разных социальных групп.

Весть, что „всех офицеров бьют и убивают", что „убьют всех генералов и офицеров", что „все, имеющие знаки офицерства, подвержены убийству",—стала быстро известна во всех концах Севастополя, в результате чего и те немногие офицеры, которые еще оставались в городе, поспешили из него бежать или спрятались, переодевшись в солдатское или матросское платье. Это в свою очередь вскоре также стало известно матросам, и они начали проверять на улицах всех подозрительных по виду матросов и солдат. Так, рядовой 21-го Егерского полка Иван Макаревич показывает следственной комиссии: „Попались мне два матроса и спрашивают, что ты, может, какой офицер, держут меня, говорят—признавайся, а то поведем в Адмиралтейство, я кое-как от них вырвался"[2].

Аресты, обыски и поиски офицеров продолжались всю ночь до самого утра. Вооруженные отряды ходили с факелами и свечами. С утра обыски частично возобновились. Так, например, искали попа Кузьменко, ген. Примо.

С утра 4 июня весь город продолжал оставаться в руках восставших. Полиция отсутствовала, офицеры прятались по окрестностям или пробрались в лагерь к внешней оградительной цепи и на Северную сторону. Немногие из оставшихся в городе высших офицеров, в том числе комендант Турчанинов и Скаловский, находились в полном бессилии и бездействии.

Следственные материалы не дают нам никаких указаний на то, что именно предпринимали 4 и 5 июня вожаки восстания и тот „род военного совета", о котором гово-

[1] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. команд., д. № 75, военно-судное.

[2] Лоциа. Военно-истор. архив. Фонд корп. ком., д. № 80/56-61.

рит Хартахай. Об этом лишь можно делать выводы по косвенным данным.

Так, в донесении своем шефу жандармов графу Бенкендорфу начальник жандармского управления Таврической губ. корпуса жандармов майор Локателли сообщает, что еще 5 июня, когда уже в Севастополь вступила часть правительственных войск „в городе хотя показалось тихо, но начальство не имеет силы распоряжаться по своей воле, о чем лучше всего свидетельствует то, что успокоившиеся мятежники не допущали погребать тела Сталыпина, Воробьева и Стулли с должной почестью, а требовали похорону по карантинному, как прочих умерших от чумы“ [1]. И только 7 июня по приезде в город командующего флотом адмирала Грейга Сталыпин был похоронен, но и то „не с полной почестью“. Таким образом, вплоть до 7 июня в городе фактически распоряжались восставшие, которые, очевидно, через своих представителей вели с Турчаниновым и Скаловским переговоры и выставляли свои требования. Подтверждение этого мы находим в том же донесении Локателли, который говорит, между прочим, что Таврический губернатор Казначеев, который распоряжался внешним оцеплением города, „видя с одной стороны благо и дух войск, линию составлявших, с другой беспрестанные угрозы бунтовщиков, предложил контр-адмиралу Скаловскому свое содействие, но тот не ответил“ [2]. Сам Скаловский через особого курьера доносил в рапорте своем адм. Грейгу от 5 июня, что он „не может вести следствия до прибытия особой военной команды, так как преступников великое число разных команд: морских, сухопутных и прочих ведомств. Сухопутные чины участвовали сами в возмущении или весьма слабы, и на них нельзя положиться“.

Далее майор Локателли доносит, что Турчанинов и Скаловский и не пытались до 7 июня предпринимать каких-либо активных мер против мятежников, „ограничиваясь возможным полицейским надзором“, т. е., иначе говоря, слежкой за активными участниками восстания, так как не надеялись на введенные в город войска, среди которых были те, которые во время восстания не приняли никаких мер к подавлению мятежа и ушли в лагери [3]. Шпионаж был в свою очередь организован „по долгу службы“ и самим жандармским майором Локателли и губернатором Казначеевым чрез полковника Зубова и других.

[1] Лоциа. Военно-ист. архив. Фонд 343, Секретное д. № 4 по канцел. Главноком. 1-й армией.

[2] Лоциа. В.-ист. архив. Фонд 343, д. № 4 секретное—по канцел. Главноком. 1-й Армией.

[3] Лоциа. Архив нар-хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

Четвертого июня в городе еще было полное возбуждение, Адмиралтейство было закрыто и в большинстве учреждений работы не производились. С 4 часов дня вновь на Корабельной слободке начали собираться толпы, на этот раз главным образом женщин, чтоб итти в собор и заставить попов служить молебен, как об этом предупреждали протоиерея Софрония с вечера.

Турчанинов приказал попам исполнить требование народа, и слобожане, захватив кресты и хоругви из своей церкви, направились к собору, куда было собрано все духовенство города, а отсюда прошли вокруг всего города по нынешним улицам Ленина, Фрунзе и К. Маркса, причем навстречу шествию всюду из караульных помещений выходили солдаты и отдавали честь, беря ружья на караул, а один офицер вышел навстречу процессии с хлебом-солью.

О том, что фактически город находился в руках восставших говорит и тот факт, что комендант города Турчанинов по требованию их издал с утра 4 июня приказ о снятии карантина следующего содержания: „Объявляю всем жителям г. Севастополя, что внутренняя карантинная линия города снята, жители имеют беспрепятственное сообщение между собою, в церквах богослужение дозволяется производить и цепь вокруг города от нынешнего учреждения перенесена далее на две версты. Июня 4 дня 1830 г. Севастопольский комендант ген.-лейт. Турчанинов“ [1].

Вместе с тем, несмотря на очевидную победу восставших, „ниспровергших все власти внутри города“, победа эта была недолговременной. Фактически в течение нескольких дней в городе было полное безвластие. Старые власти были „ниспровергнуты“, а никаких органов новой власти восставшие не создали.

Причина этого заключается прежде всего в отсутствии ясно осознанной политической цели у восставших и надлежащего умелого и твердого руководства восстанием. По материалам следствия ничего в сущности не известно ни о том „роде военного совета“, который по словам Хартахая был избран для руководства восстанием, ни о его действиях, за исключением обучения военному строю слободских жителей, выработки мероприятий по защите слободки, составления инструкции о доводах, какими городские вожаки восстания должны были склонять в его пользу жителей Артиллерийской слободки и Хребта, назначения времени для начала восстания и составления списка лиц, присужденных к смерти. Известно, что ряд мероприятий

[1] Лоциа. В.-ист. архив. Фонд 9, д. № 31 о Севастоп. коменд. Турчанинове.

по подготовке восстания принимался „по общему рассуждению“ и что в доме Иванова происходили „сходбища бунтовщиков“. Вот и все. Как и из кого создан был этот „Совет“, какими еще вопросами он занимался, в каких отношениях стояла к нему „Добрая партия“, и долго ли продолжалось его существование,—ничего этого на основании имеющихся в настоящее время материалов в крымских и ленинградских архивах мы не знаем.

Равным образом почти ничего не установлено и о самой „Доброй партии“. Была ли это какая-то организация с политической программой или же так назвалась какая-либо группа активных участников восстания, которая не имела никакого политического лица? Во всяком случае определенные организованные действия, которые требовали руководства, предпринимались восставшими, повидимому, 4 и 5 июня, о чем говорит в своем донесении шефу жандармов майор Локателли: „Мятежники после 3 июня несколько раз покушались прорвать линию“ [1], (Внешнее оцепление города, которым командовал князь Херхеулидзев.—*А. П.*), а также губернатор Казначеев: „Бунт, происшедший в Севастополе 3 июня, ниспровергший все власти внутри города... не мог поколебать линейную стражу, несмотря на все покушения бунтовщиков“ [2].

В этих действиях нельзя не усмотреть осуществления того плана, который по словам юнги Соловьева и других был принят вожаками восстания и состоял в том, чтобы соединиться с балаклавскими греками и татарами, державшими охранительную линию со стороны Южной бухты.

План привлечь татар вытекал, повидимому, из того недовольства, которое существовало среди татар, назначенных в обязательном порядке для несения караульной службы на внешней оградительной линии.

О существовании этого недовольства мы знаем из официальных документов.

По распоряжению гражданского губернатора Казначеева к несению службы на внешней линии вокруг Севастополя было привлечено весьма большое количество татарских крестьян и не только из ближайших волостей—Дуванкойской, Байдарской и Озенбашской,—но и из отдаленных степных. Их забирали в большом количестве, совершенно не считаясь при этом с полевыми работами. Так, только для укрепления цепи во время восстания было мобилизовано из трех указанных выше волостей 1500 человек.

Мало того, что татар-крестьян отрывали от их хозяйств, но они обязаны были содержать себя во все время на-

---

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22, вып. из секр. д № 4.
[2] Крымархив. Фонд Канцел. Таврич. губернатора, д. № 653 (арх. 492)

хождения в оцеплении за свой счет, причем царская полиция делала и это источником для своего обогащения, принимая на себя „заботы“ о продовольствии мобилизованных крестьян, собирая с них для этого большие суммы и давая отвратительное и недостаточное питание. Злоупотребления полиции, разорительным образом отражавшиеся на хозяйстве, вынудили татарских крестьян тридцати четырех деревень Аргинской волости подать губернатору коллективную жалобу на „излишние и непомерные требования на карантинную линию людей, на значительный сбор денег на содержание их и различные притеснения со стороны исправника“ [1]. Жалоба, которая, как и следовало ожидать, не имела для крестьян никаких результатов.

Таким образом, вожаки восстания не без основания могли рассчитывать на помощь своих татарских собратьев, которые страдали под гнетом царских чиновников. Несомненно, жители слободок помнили еще восстание татар против русского правительства в 1816 г., в котором приняло участие несколько тысяч вооруженных татарских крестьян Байдарской волости. Но они не учли того, что как ни было велико озлобление татар против русских властей, им гораздо труднее, чем горожанам, было бы принять участие в восстании, так как они находились в широко растянутой цепи под двойным надзором: своих мурз и старшин, командовавших ими, полиции и казаков.

Как мы уже указали выше, неоднократные попытки восставших прорвать наружное оцепление города окончились неудачей, чему не мало, конечно, способствовал хорошо организованный со стороны командования внешним оцеплением шпионаж.

Помимо вышеупомянутого полковника Зубова мы встречаем еще несколько указаний на таких шпионов, военных и гражданских, получивших награды за участие в прекращении восстания: „Греческого Балаклавского батальона майор Манто, который во время бунта и беспорядков в Севастополе три дня ходил по городу и собирал нам верные сведения о действиях мятежников и тем способствовал принятию мер против покушения мятежников“, а также переводчик, сын купца 1-й гильдии Кацев, который „во время бунта наблюдал за движением бунтовщиков и предупреждал их за мыслы“ [2]. Получая от этих шпионов сведения о тех пунктах цепи, на которые восставшие готовили наступление,

---

[1] Крымархив. Фонд канцел. Таврич. губернатора, д. № 389 (арх. 421).
[2] Крымархив. Фонд канцел. Таврич. губернатора, д. № 653 (арх. 492).

военное командование успевало стягивать туда свои самые надежные части, против которых были бессильны плохо вооруженные отряды восставших, не имевшие к тому же опытного руководства и командования. Ибо во главе восставших был лишь младший флотский командный состав при одном единственном младшем морском офицере—штурмане Кузьмине.

В самом деле, среди лиц, которых военный суд признал „начинателями" и главарями „возмущения" и которые были казнены, мы встречаем следующих:—квартирмейстер Тимофей Иванов, унтер-офицер Крайненко, фельдфебель Петр Щукин, отставной квартирмейстер Кондратий Шкуропелов, боцман Федор Пискарев и слесарь рабочего экипажа Матвей Соловьев.

Надо полагать, что все они входили и в „Совет".

В каком же положении оказалось восстание уже в первый день?

„Все власти внутри города были ниспровергнуты", власть фактически находилась в руках восставших, но что с ней дальше делать,—руководители восстания не знали. Никакой не только политической программы, но даже ясно поставленной политической цели у них не было. Пока впереди была борьба с ненавистным офицерством, чиновничеством и спекулянтами,—все было само собой понятно для вожаков восстания. Но когда борьба, сверх ожидания, быстро увенчалась полным успехом, дальше показалось все темным и неясным. А безнадежность нескольких попыток прорвать линию наружного оцепления внесла, повидимому, дезорганизацию в среду руководителей. Среди них начались споры и разногласия, что так понятно сказалось в сцене на Корабельной слободке 5 июня, когда туда пришли два младших офицера, чтобы взять захваченные 3 июня и поставленные у дома Иванова две пушки. Среди вожаков сразу возник спор: отдавать пушки или нет. Часть из них и в том числе Тимофей Иванов, фельдфебель Иван Клумин, отставной квартирмейстер Прохор Соколов и в особенности слесарь Кузьма Фролов были против выдачи, часть же соглашалась вернуть. В итоге пришлось апеллировать к воле народа. Тимофей Иванов, который продолжал играть руководящую роль, но уже, повидимому, далеко не пользовался прежним безапелляционным авторитетом, вынужден был собрать „сходбище всего народа".

„Тимофей Иванов оповестил, дабы собрались для совещания, следует ли отдавать пушки, явились все жители к дому Иванова и определили пушки отдать за распиской", если офицеры подпишутся, что

пушки возвращены без всякого сопротивления. Офицеры согласились на эти условия, за что они впоследствии и понесли наказание, и дали подписку следующего содержания: „Расписка. Дана сия жителям слободки Корабельной бухты в том, что они пятого числа июня месяца отдали пушки без всякого спора и прекословия, 3-го батальона 22-го Егерского полка Егерской роты, в том даем сию расписку ротный командир подпоручик Маковеев, подпоручик Швейковский“ [1].

Насколько пушки на самом деле были отданы „без всякого спора и прекословия“, видно из показания подпоручика Швейковского: „Когда прибыл на Корабельную слободку, то жители Корабельной слободки, собравшись толпою, кричали, что не согласны отдать пушки. Потом согласились дать под расписку. Расписку в пушках дали Тим. Иванову, так как он больше всех мешался во все дела[2]“.

Даже и после этого решения „народного собрания“ некоторые из вожаков, не подчиняясь ему, пытались удержать пушки. Так мы читаем в следственных материалах, что „Фролов не хотел отдавать пушек, так что даже другие принуждены были его отгонять от пушек“ [3]. Это было одним из главных обвинений против Фролова, который, как говорится в приговоре, „возжигал пламя бунта и препятствовал отдавать орудия“ [4].

Расписку отнесли для удостоверения попу Кузьменко, который накануне вернулся на слободку и, став пред толпой за 50 саженей на колени, вымолил себе прощение. Кузьменко написал: „Свидетельствую, Федор Кузьменко“. Причем сам он утверждает, что удостоверил расписку лишь под угрозой смерти.

Описанная сцена ярко рисует ту картину разложения, которое началось среди руководителей восстания. Положение сознательных организаторов восстания ухудшалось также тем, что число их активных сторонников явно уменьшилось. В числе последних оставалась, повидимому, лишь часть слобожан, матросы 29-го, 38-го и 39-го флотских и мастеровые 17-го и 18-го рабочих экипажей, ненависть которых к существующему строю питалась не одними чумными притеснениями, а всей системой палочной дисциплины николаевского времени, лишениями, понесенными ими во время войны с турками, продовольственными злоупотреблениями во флоте и т. д. Остальная же масса населения, относившаяся к мелкобуржуазной,

[1] Лоция. Военно-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 73 А к д. № 49.
[2] Там же.
[3] Лоция. Военно.-ист. архив. Фонд корп. ком., д. № 73 А к д. № 49.
[4] Лоция. Военно.-ист. архив. Фонд корп. ком., д., № 47.

бедноте, участвовала в восстании, главным образом, из чувства ненависти к своим притеснителям во время чумы, и, найдя выход своему гневу в ночь на 4 июня, постепенно вернулась к обычным будничным заботам.

Таким образом, восстание оказалось изолированным извне и извнутри.

Однако далеко не права была „высочайше учрежденная следственная комиссия", доносившая царю 12 августа 1830 г., что „бунт не прекращен, а прекратился сам собой". Ибо „прекратился" он все же фактически не 5 июня, когда в город были введены первые отряды войск Симферопольского гарнизона, Балаклавского греческого батальона и другие, на которые начальство не могло положиться и которые бездействовали, а лишь когда были к городу подтянуты боевые пехотные части 12-й дивизии, возвращавшейся с театра военных действий. Об этом прямо говорится в указе Правительствующего сената в следующих выражениях: „Мятеж был приостановлен вооруженными войсками" [1]. Народный гнев, заглушенный начавшейся расправой, не был, однако, вовсе подавлен, что подтверждает и адмирал Грейг. Отдельные его проявления мы встречаем даже после начала действий военного суда. Так, капитан-лейтенант Веревкин доносит рапортом: „11 июня мимо меня проходил нетрезвый Никифор Иванов, унтер-офицер 2-го класса 18-го рабочего экипажа и сказал—если мне попадется генерал или офицер, то он убьет" [2].

Если даже поверить Веревкину, что Иванов был „не трезв", то это нисколько не меняет дела, по пословице—„что у трезвого на уме, то у пьяного на языке".

Помимо введения в город большого количества войск полному прекращению восстания не мало способствовали лживые обещания в приказах к населению адмирала Грейга, приехавшего в Севастополь из Николаева 7 июня. Субъективно обещания эти со стороны Грейга, быть может, и не были сознательным обманом, подтверждение чему мы находим, как будто, в письме адмирала по поводу аннулирования всех его обещаний населению Воронцовым, извлекшим из него все выгоды для расправы с „бунтовщиками".

В этом письме Грейг, напоминая о данном им жителям „священном залоге", что утеснители будут наказаны, пишет, что для него иначе неприличным будет оставаться во временно возложенной на него должности генерал-

---

[1] Лоция. Военно-ист. архив. Фонд. корп. ком., д. № 80/8 военно-судное
[2] Лоция. Морской архив, д. № 100 о бунте, случившемся в Севастополе.

губернатора, почему и просит „принять от него сию должность“ [1].

Но независимо от субъективных намерений Грейга население было обмануто этим приказом, в котором предлагалось сознаться в своем участии в возмущении, за что было обещано помилование всем, кроме „зачинщиков и убийц“, и наказание всем чиновникам, производившим злоупотребления во время карантинного оцепления. Ни то, ни другое обещание выполнено не было.

В приказе этом от 11 июня 1830 г. № 1 Грейг писал: „С крайним огорчением получил донесение об ужасном бунте, третьего сего месяца в Севастополе случившемся... Желая открыть преступников, я объявляю по г. Севастополю о том, дабы каждый из служащих и не служащих, чувствующий себя виноватым в упомянутом бунте или прикосновенным к оному, добровольно и немедленно явился к начальству и учинил чистосердечное признание: в чем именно он почитает себя виновным, за каковое откровенное признание или раскаяние, я обещаю всем таковым ходатайствовать у его императорского величества смягчения наказания или самого прощения, исключая тех только, кои были зачинщиками или убийцами“ [2].

В тот же день им был издан приказ № 2 следующего содержания: „Хотя при самом открытии в Севастополе заразительной болезни и во время продолжения оной начальство всегда принимало меры о доставлении людям, в карантинном оцеплении города находящимся, нужного содержания и успокоения(?!), за всем тем ныне дошли до меня претензии, что некоторые из людей тех терпели во многом недостаток, а с другими даже и жестоко было поступлено. Назначив совместно с г. Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором для исследования таковых поступков особенную комиссию, я объявляю о сем г. Севастополю на тот конец, чтобы все те, кои имеют какие-либо претензии, объявили оные означенной комиссии; со стороны которой, буде они окажутся справедливы, и будет сделано возможное удовлетворение“ [3].

7 июня надо считать днем окончательной ликвидации Севастопольского восстания и началом жестокой расправы с его участниками и со всеми вообще жителями слободок и Хребта, даже вовсе в нем не участвовавшими.

---

[1] Лоциа. Архив нар.-хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20, излож. о ходе событий.

[2] Лоциа. Архив нар.-хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

[3] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

ГЛАВА VIII

Уже ночью 3 июня из Севастополя начали тайком посылаться донесения о событиях в Николаев командующему Черноморским флотом и в Одессу Воронцову, а от них к царю.

Первые же сообщения о севастопольских событиях повергли венценосного труса в трепет, и он принял ряд чрезвычайных экстренных мер для подавления восстания, передав исключительные полномочия своему любимцу графу Воронцову, которому с этого момента должны были подчиняться не зависевшие ранее от него адмирал Грейг и начальник военных поселений граф Витт.

Царь приказал: „1) Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору гр. Воронцову отправиться немедленно к Севастополю и действовать к восстановлению порядка всеми средствами, от высочайше предоставленной ему по управлению краем власти. 2) Адмиралу Грейгу и генералу Витту, коим прибыть в Севастополь, состоять по сему случаю в начальстве у графа Воронцова и исполнять все распоряжения его. 3) По назначению графа Воронцова командировать к Севастополю и куда надобность потребует достаточное число войск от состоящих в заведывании графа Витта. 4) До прибытия Воронцова иметь начальство адмиралу Грейгу и графу Витту. 5) Принять меры, чтобы чумная зараза, держащаяся в Севастополе (??), не распространялась“ [1].

Не удовлетворяясь этими мерами, Николай I приказал „на всякий случай поставить в известность о сем происшествии главнокомандующего 1-й армии“ и „ежедневно доносить ему (царю.—*А. П.*) с нарочными курьерами о ходе дел под Севастополем“ [2]. Воронцов, Грейг и Витт начали спешно стягивать к Севастополю со всех сторон военные части. Так, Грейг приказал Витту „отправить к Севастополю сколько можно кавалерийских полков с артиллерией, а командующему 3-й резервной дивизией из Николаева итти к Перекопу“. В то же время

[1] Лоциа. Воен.-ист. архив. Фонд 342, д. № 4 секретное по канцел. Главноком. 1-й армией.

[2] Там же.

гражданский губернатор Казначеев вызывал срочно из Феодосии 12-ю дивизию генерала Тимофеева, только что прибывшую с театра военных действий.

Немедленно по прибытии в Севастополь Воронцова, который не решился появиться в самом городе, а „благоразумно" поселился на Северной стороне, и по вступлении в город надежных частей дивизии „боевого" генерала Тимофеева,—началась расправа.

С самого начала для этого было организовано несколько комиссий. Первая — „высочайше учрежденная следственная комиссия" под председательством самого Воронцова, которая объединяла все действия по ликвидации восстания и которой были подчинены другие комиссии.

Вторая комиссия была организована Грейгом по соглашению с Воронцовым специально „по приему жалоб разных лиц морского ведомства и жителей на карантинное управление во время бывшей в Севастополе чумы в 1830 г".

В эту комиссию, составленную главным образом из флотских офицеров и гражданских чиновников под председательством кап.-лейт. Патаниоти 1-го (брата вице-адмирала Патаниоти) входил и представитель Воронцова. Третья комиссия военно-судная, под общим председательством генерала Де-Жерве (состоявшая в свою очередь из нескольких комиссий) была составлена преимущественно из сухопутных офицеров „для розыскания виновных и суда над ними на основании военно-полевого судопроизводства".

После роспуска комиссии Грейга взамен ее была назначена комиссия „по изысканию причины" восстания под председательством графа Толстого и, наконец, взамен и этой—новая комиссия под председательством генерала Тимофеева. Кроме того была еще комиссия для определения убытков от восстания—под председательством полковника Карандино.

С самого же начала производства следствия между Грейгом и Воронцовым возник ряд конфликтов, закончившихся ссорой и полным разрывом между ними отношений, бывших раньше дружескими. Источник этих конфликтов проистекал из желания Николая I выяснить для себя „истинные причины бунта". В этом вопросе интересы бывших друзей резко разошлись.

Грейгу, так как главными участниками восстания были его матросы флотских и рабочих экипажей, было чрезвычайно важно, чтобы среди этих причин не фигурировали

вовсе те многочисленные злоупотребления во флоте, которые вызвали по высочайшему повелению специальную ревизию продовольственного дела, результаты которой, как мы видели, Грейг усиленно старался опорочить и затушевать. Для этого надо было весь центр внимания перенести на злоупотребления гражданского чиновничества в период карантинного оцепления города, о которых и так было известно всему Севастополю. Однако нахождение причин восстания в злоупотреблениях гражданских чиновников было явно не выгодно Воронцову, их главному начальнику, от имени которого шли все распоряжения, так как это могло дискредитировать его в глазах его „высочайшего покровителя".

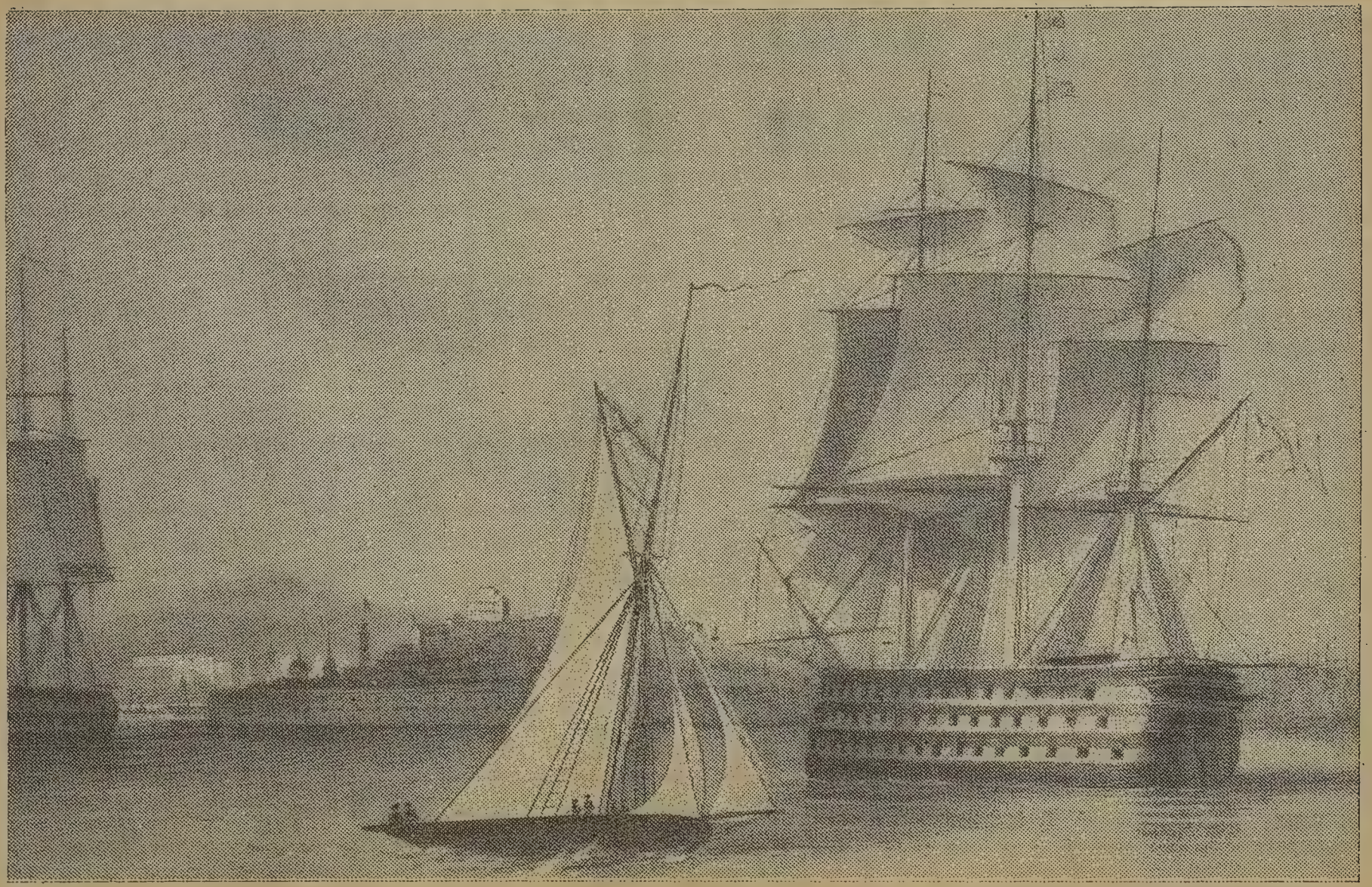
На этой почве именно и начинается между ними ожесточенная борьба, в которой недавние друзья не пренебрегают никакими средствами. Однако Воронцов оказался победителем в изобретении методов борьбы со своим противником. В этом отношении он проявил по отзывам лиц, не заинтересованных в исходе борьбы, максимум подлости и наглости, используя в своих интересах ложь, политический донос, придворные связи, подбор для ведения следствия „своих людей" и т. д., вполне оправдывая известную эпиграмму на него Пушкина:

Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Эту „надежду" великого поэта Воронцов полностью оправдал в руководимом следствии по делу о Севастопольском восстании. В этом отношении мы имеем вполне объективное свидетельство вновь назначенного коменданта города графа Толстого. В своем секретном рапорте он пишет: „Воронцов, управлявший всеми действиями комиссии, употребил все возможные средства, чтобы причины бунта остались сокровенными, или какие не подвергали бы опасности чиновников местного начальства, как-то: карантинных, медицинских и др" [1].

Борьба эта хотя и продолжалась несколько лет, и дело о взаимных обвинениях Воронцова и Грейга доходило даже до Комитета министров, но уже в самом начале ее

[1] Лоциа. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, дело № 21, рапорт гр. Толстого о причинах севастопольского бунта.



Вид Севастополя с рейда в середине XIX века.

победа была явно обеспечена за Воронцовым, который фактически захватил в свои руки все следствие по делу о восстании и направлял его через своих ставленников так, как это соответствовало его интересам, подыскивая те причины, какие, как ему было известно, могли быть по душе Николаю I и безопасны для него самого.

Победе Воронцова как раз больше всего способствовало то, что он играл на самой слабой струне Николая I и его ближайших приспешников—трусости перед народными волнениями—доказывая, что методы следствия Грейга могут привести к новым возмущениям и что самые причины восстания кроются в „буйственном духе своеволия и непокорности" масс. Поэтому и царские министры в конечном итоге „сочли за благо" закрыть глаза на начавшие обнаруживаться истинные причины Севастопольского восстания и предпочли, как мы увидим дальше, „принять за истину" явно лживую воронцовскую версию этих причин, поскольку „объективная истина" грозила вскрыть неприглядную сущность самых основ николаевского режима, построенного на системе всеобщего народного угнетения, безграничного произвола, чиновничьего хищения и взяточничества. Бедственное положение севастопольских масс во время карантина дало лишь более сконцентрированную и наиболее обнаженную картину всех этих явлений. Вот почему Комитет министров, в который поступили, как в высшую инстанцию, взаимные обвинения Грейга и Воронцова и жалобы жителей слободок, собранные комиссией Грейга, предпочел это дело замять. По „жалобам лиц на карантинное управление Комитет нашел, что в действиях карантинных властей нет ничего противозаконного... что возражения адм. Грейга клонили к защите морского начальства и обвинению вместе с тем начальства карантинного. Комитет полагал неудобным по самому свойству сего дела подвергать оное судебному рассмотрению в Сенате... Как прежде адм. Грейг обвинял карантинное начальство, так теперь гр. Воронцов обвиняет начальников морских... но ни злоупотребления по карантинной части, ни приписываемые морскому ведомству противозаконные действия не доказаны... претензии жителей оказались неосновательными и определено оставить их без уважения... Настоящее дело обратилось ныне более в личные пререкания между двумя высшими чиновниками, ограждающими себя от взаимных обвинений, а как по занимаемому званию каждый из них имеет право на равную степень веры, то при запутанности обстоятельств, при давно прошедшем времени,

необнаружении прямых виновников в возведенных на карантинное начальство преступлениях, но даже и самого существа сих преступлений, нельзя считать, что откроется более того, что известно", почему „Комитет министров полагал настоящее дело почесть конченным и оставить без всяких последствий"[1], с чем Николай I вполне согласился.

Этот документ, полный внутренних противоречий, с максимальной яркостью отражает лицо николаевского режима, одновременно наглого, лицемерного и насквозь лживого. В самом деле, с одной стороны, Комитет министров утверждает, что „ни злоупотребления по карантинной части, ни приписываемые морскому ведомству противозаконные действия не доказаны", а „претензии жителей оказались неосновательными". Все, таким образом, для престижа власти оказывается благополучным, и чего, казалось бы, лучше опровергнуть в таком случае все неосновательные обвинения и претензии посредством судебного разбора этого дела? Однако Комитет министров совершенно неожиданно и в полном противоречии с высказанными положениями вдруг заключает, что „подвергнуть это дело судебному рассмотрению в Сенате неудобно по самому свойству сего дела"[1].

Таким образом, выходит, что самое рассмотрение дела в Сенате могло скомпрометировать власти.

Почему же в таком случае оно могло быть без вреда для правительства рассмотрено в Комитете министров? Ответ ясен сам собой: при судебном разбирательстве в Сенате нельзя было бы скрыть от общества тех фактов, которые с полной тщательностью собраны Грейгом в отношении гражданского ведомства, а Воронцовым—в отношении морского, с частью которых мы уже познакомились выше. А это в свою очередь привело бы тогдашнее общество к тому единственному выводу, к какому и можно было притти: что причины Севастопольского восстания лежат в многочисленных злоупотреблениях со стороны гражданского и морского начальства. Однако логика не к лицу министрам, и вот мы встречаем дальше совершенно исключительное по своей прямолинейной наглости заключение. Комитет прямо утверждает, что и гр. Воронцов и адм. Грейг „по занимаемому званию каждый из них имеет право на равную степень веры", а потому... ни одному из них Комитет не верит: Воронцову в обвинениях морского ведомства, а Грейгу в обви-

---

[1] Лоция. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20. Выписка из Журнала Комитета министров.

нениях гражданского, что вуалируется туманным заключением Комитета министров, „что раз дальше не откроется более того, что известно, то следует дело оставить без последствий".

В эту борьбу двух крупнейших царских чиновников вокруг выяснения причин восстания были втянуты, конечно, и все их подчиненные, причем не всегда с выгодой для себя. Какие формы принимала эта борьба, иногда совершенно нелепые, можно видеть на следующем примере. Когда было возбуждено обвинение против двух офицеров 10-й батареи „о непринятии доктора Верболозова, когда он спасался от преследования мятежников",—следственная комиссия признала их виновными и предала военному суду. В ответ Грейг также возбудил обвинение—„в имении на себе тогда неприличного званию своему одеяния" против Верболозова, который, как сказано было выше, спасаясь от преследования жителей Хребта, переоделся в денщицкое платье, благодаря чему только и остался в живых. Следственная комиссия согласилась и с этим обвинением, постановив: „Верболозова за надевание на себя неприличное по званию матросское платье и красный фесик—также предать уголовному суду в полковую комиссию уголовного суда"[1].

Военно-судная комиссия „мудро" приговаривает одинаково и офицеров за то, что они не приняли Верболозова, поставив тем самим под угрозу его жизнь, и самого Верболозова „за неприличное по званию одеяние", без которого он, по всей вероятности, лишился бы жизни. В Главном морском штабе, куда поступили оба дела на утверждение „почли за благо" „всех обвиняемых от суда освободить".

В соответствии со своим обещанием населению Грейг, как указано выше, по соглашению с Воронцовым образовал под председательством капитана 1 ранга Патаниоти „Особую комиссию по приему жалоб разных лиц морского ведомства и жителей на карантинное управление во время бывшей в Севастополе чумы в 1830 году". Однако комиссия эта с самого начала обнаружила полную неработоспособность. Главнейшей причиной этого был саботаж со стороны назначенного в нее в качестве представителя Воронцова, майора Балаклавского греческого батальона Качони. Имея, повидимому, соответствующие инструкции от своего начальника, он просто не являлся в

[1] Лоциа. Морск. арх., д. № 15 аудитор. департ. Главн. морск. штаба, 1831 г.

комиссию, сказавшись больным, а на самом деле временно выехав в Симферополь. Наконец, когда Грейг приказал комиссии приступить к работе и без Качони, последний „выздоровел". Однако первое время комиссия ограничилась только оценкой сожженного или испорченного окуркой имущества, совершенно не затрагивая причин восстания. Тогда Грейг издал 4 июля специальные правила об объеме ее прав. Согласно этим правилам комиссия должна была принимать жалобы от жителей как на довольствие, так и на обращение с ними карантинных, медицинских и других чиновников, на убытки от потери имущества, происшедшей от окурки, сожжения или разграбления домов во время пребывания в карантине и, наконец, „проверять и такие слухи, которые по городу всем известны по обвинению в жестоком обращении и бесчеловечных поступках некоторых ли —истину или несправедливость такой молвы, чтобы в первом случае наказать, во втором—избавить их от клеветы" [1].

Правила не помогли, и комиссия попрежнему вяло работала. Тогда Грейг 6 июля отстранил Патаниоти от руководства ею, увеличил ее состав, назначил председателем подполковника Псамоса, который энергично повел дело в полном соответствии с правилами. Не ограничиваясь выпущенным обращением к жителям—о принесении претензий, комиссия дала поручение нескольким из своих членов лично произвести опрос жителей на Корабельной слободке. Качони, начавший наконец посещать комиссию, всячески тормозил ее работу „противоречиями, претензиями и словом".

В результате собранных материалов комиссия составила докладную записку Грейгу, в которой на основании заявлений потерпевших, свидетельских показаний и личного осмотра описывалось положение жителей Корабельной слободки во время оцепления и обращалось внимание на бедственное их состояние во время обследования, на грозящий им голод и холод зимой и ставился вопрос о снабжении их продовольствием. Комиссией было установлено также жестокое и издевательское отношение чиновников к жителям слободки: купанье зимой в бухте не только здоровых, но и больных, порка за просьбы о пайке, „обольстительные предложения" Верболозова, смерть женщины и трех детей после данных последним конфект, удушение мортусами старухи Щегловой, „лечение" мортусом Колдуном, в результате чего умерло 80 человек и т. д.

---

[1] Лоциа. Арх. нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 20 изложение о ходе событий.

Полковник Качони, который участвовал лично в посещении слободки и подписывал вместе с другими членами комиссии протоколы допроса свидетелей, положенные в основу докладной записки, от подписания последней отказался и сделал донос Воронцову на всю комиссию в целом и на одного из чиновников, Вариченко, в частности, который якобы, распространял слух о том, что мортусы по приказанию самого Воронцова морили людей, получая за это деньги. Если бы Вариченко и передавал такой слух комиссии, то единственным последствием могло быть предание его суду за распространение ложных слухов и исключение из состава комиссии. Однако Воронцов воспользовался этим предлогом, чтобы ликвидировать самую комиссию, которая рьяно вскрывала то, что как раз всеми силами хотел скрыть Воронцов.

Воронцов в письме своем к Грейгу прямо ставит вопрос, что если он хочет, чтобы комиссия была оставлена, то изменил бы „направление ее работ", указывая, что, не выжидая явки жителей с заявлениями, а приходя к ним, расспрашивая на месте, „комиссия уклонилась от поставленной ей первоначально цели", что опросом занимается уже другая комиссия (очевидно, Воронцов имел в виду военно-судную, которая, если и занималась опросом, то отнюдь не о положении жителей, а о виновниках восстания) и что комиссия, „входя в рассуждения, ей не принадлежащие, старается дать иной вид делу, возбуждая и тех, кто и не думал представлять свои претензии и жаловаться на утеснения и жестокости"[1]. На это письмо Грейг ответил Воронцову 17 июля, что в действиях комиссии он не видит никаких отступлений от первоначальных задач, которые были в самом начале определены в соответствии с „монаршей волей", были одобрены самим Воронцовым, „через которые надеялись открыть источник пагубного ожесточения жителей", что никакой агитацией члены комиссии не занимаются и что всякая комиссия имеет право отряжать своих членов для опроса на месте. Что касается выявления лиц, жестоко и бесчеловечно обращавшихся с жителями, то он „дал священный залог жителям, что утеснители будут наказаны"[2].

В это же время Качони подал политический донос на всех членов комиссии и, притворившись больным, перестал ее посещать.

Воронцов, ничего не ответив на письмо Грейга и не предупредив его, издал 19 июля 1830 г. приказ о роспуске комиссии, в котором он говорит: „Комиссия уклонилась от

---

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[2] Там же, д. № 20, излож. о ходе событий.

предписанной ей цели и вместо простого исполнения возложенных на нее обязанностей, вошла в исследование положения жителей Корабельной слободки, занимаясь розыском по слухам, никакого вероятия не заслуживающим и роспускаемым людьми злонамеренными о давании лекарств для прекращения жизни и о удушении мортусами одной женщины, умершей 31 мая, как будто в подтверждение слухов о несуществовании в городе ужаснейшего зла—чумы, почему и имея здесь высочайше дарованную мне власть главнокомандующего, я закрыл с сего дня упомянутую комиссию, вместо же оной предоставил второму коменданту полковнику Гинтовту принимать от всех, кто только являться к нему будет, жалобы единственно: 1) на неполучение во время оцепления от казны вспомоществования деньгами и продовольствием, 2) на жестокость, если таковая от кого-либо была оказана... Срок подачи жалоб полковнику Гинтовту с надлежащими доказательствами назначается двухнедельный"[1].

Так кончила свое существование грейговская комиссия, все дела которой в количестве 114 томов Воронцов приказал „по описи сего же дня доставить мне". „Какая торопливость,—делает Грейг пометку,—сего даже исполнить невозможно!".

В ответ на приказ о роспуске комиссии Грейг писал Воронцову 23 июля 1830 года: „Если бы вашему сиятельству было угодно позволить сей комиссии продолжить свои действия, то она бы успела произвести на вид, как обиды и угнетения, претерпенные народом во время оцепления, так и лиц, кои то причинили"[2]. Но именно как раз этого „произведения на вид" обид и угнетений больше всего и опасался Воронцов и меньше всего желал, чтобы были обнаружены „лица, кои то причинили". Так что письмо это могло лишь убедить Воронцова, что он вовремя и удачно для себя ликвидировал „зловредную" комиссию.

С упразднением грейговской комиссии пресекалась всякая возможность в дальнейшем „выяснения истинных причин возмущения". Видимость продолжения расследования, как будто бы, сохранялась поручением полковнику Гинтовту принимать заявления от жителей. Но это была лишь одна видимость.

Заявления Гинтовту должны были подаваться лишь в письменной форме. Это при почти поголовной неграмотности слобожан лишало многих возможности принести

---

[1] Лоция. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[2] Лоция. Арх. нар.-хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22.

жалобу. Между тем показания в комиссии Грейга принимались и устно, записывались писцами и скреплялись подписями всей комиссии.

Заявления Гинтовту принимались лишь „с надлежащими доказательствами", что давало полный произвол ему, принять или не принять заявление. Наконец, двухнедельный срок подачи также уменьшал шансы жалобщиков, тем более, что все материалы упраздненной комиссии признавались как бы не существующими вовсе.

Всеми преимуществами этих правил, как увидим ниже, целиком и воспользовался Гинтовт. Дело нисколько не изменилось от того, что вскоре единоличный прием заявлений был вновь заменен комиссией, которую Воронцов постарался составить из своих людей, введя в нее бывшего Евпаторийского городничего Ессена и вновь назначенного коменданта города Толстого. В последнем, однако, Воронцов ошибся, и Толстой в секретном рапорте, как мы уже выше указали, вскрыл все махинации его по ведению следствия о причинах восстания.

„Комиссия Грейга,—пишет в этом рапорте Толстой,—могла открыть многое, но она уничтожена была 19 июля, причина чему—рапорт комиссии Грейгу, открывавший то, что желали скрыть. Замена комиссии полк. Гинтовтом невольно поражает всякого. Высочайше учрежденная комиссия вместо того чтобы о претерпенных нуждах и истязаниях—спрашивала о причинах бунта жителей, которые, боясь, что их обвинят в бунте, говорили, что не знают, а жителей Хребта вовсе не спрашивали...

Скоро прибыл заседать в комиссию Евпаторийский городничий Ессен (человек гнусный и бывший под следствием), который подал донос на следователей, исполнив цель назначения своего. Почему все показания, данные жителями, объявили сомнительными. Чувствуя всю беззаконность сего поступка, предоставили мне пересмотреть дело, а мне назначили в помощь Гинтовта, подготовив все, чтобы мое участие было не действительно. Когда я хотел сделать распоряжение, вдруг оказалось, что все полезные и знающие члены комиссии вдруг исчезли, остались лишь безгласные и неопытные. Ессен, назначенный полицмейстером, мог дать вместе с Гинтовтом ход делу, какой хотел... мне пришлось отказаться от участия в действиях неправильных, коим пособить было невозможно"[1].

[1] Лоциа. Арх. нар.-хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21—переписка о комиссии.

Таким образом, благодаря политическому доносу и из этой комиссии были удалены все следователи, которые пытались вести дело объективно. Не желая принимать участия в фальсификации следствия и не имея мужества с этой фальсификацией бороться, Толстой, чтобы отстранить себя от этого гнусного дела, подал рапорт о болезни.

Воронцов чрезвычайно ловко воспользовался фразой Грейга из его письма, что тот предпочитает быть уволенным от должности генерал-губернатора, если не может выполнить своего обещания жителям о наказании лиц, жестоко с ними обращавшихся, и подал рапорт царю, в котором со свойственным ему лицемерием писал: „Видя с душевным прискорбием, что состояние здоровья адмирала Грейга не позволяет ему здесь полезное присутствие, долгом считаю однако донести вашему императорскому величеству, что генерал Тимофеев имеет в полной мере усердие, расторопность и благоразумную твердость, кои нужны в теперешних обстоятельствах для того, чтобы исполнить вместе со мною во всех пунктах вашего императорского величества волю“ [1].

Таким образом, Воронцов сразу убил двух зайцев: избавился от Грейга и назначил военным генерал-губернатором своего человека, на полную преданность и послушание которого вполне мог положиться, что последний вскоре доказал на деле, будучи назначен в сентябре председателем третьей комиссии для исследования причин возмущения, образованной по требованию Николая I, „любознательность“ которого все еще не была удовлетворена.

Назначение этой новой комиссии вполне соответствовало желанию Воронцова, что мы усматриваем из нового рапорта, который подан Толстым по этому поводу: „Узнав, что назначена новая комиссия (взамен гинтовтовской) по высочайшему повелению, я сказался здоровым... Однако,— добавляет он несколько ниже,—судя по членам, кои составляют оную, можно решительно предсказать, что благотворные виды монарха мудрого и на сей раз не будут выполнены с желательным успехом“ [2].

Мстительный Воронцов не ограничился роспуском грейговской комиссии. Сообщая post factum Грейгу о закрытии ее, Воронцов прибавляет, что он поручил жандармскому майору Локателли „исследовать о намерениях членов той комиссии“, причем Грейг ядовито делает приписку на полях этого письма: „Итак,

[1] Лоция. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

[2] Лоция. Морск. истор. архив., д. № 100, о бунте, случивш. в Севастополе.

ныне дело уже более не идет о действиях, а о намерениях"[1].

Локателли весьма энергично принялся исполнять полученное поручение, в чем деятельную помощь ему оказывал сам Воронцов и все его приспешники. Председатель комиссии Псамос был вовсе уволен от службы, другие члены понесли различные наказания. Напрасно Грейг пытался защищать некоторых из них, обращаясь даже к царю. Царь был всецело на стороне Воронцова. Он вполне согласился с доводами Воронцова, о политической опасности грейговской комиссии, члены которой якобы „начали позволять себе и такие действия, которые могли бы быть опасными и во всякое другое время, кольми паче после несчастного происшествия, в Севастополе 3 июня случившегося, как-то—возбуждать жителей к принесению жалоб, а не ожидать таковых и не подлежаще входить в расспросы о положении жителей Корабельной слободки и представлять оные в превратном виде"[2].

В данном по этому поводу высочайшем указе Николай I также прямо говорит, что „первая комиссия далеко преступила обязанности свои, занявшись расспросами всех жителей Корабельной слободки о причиненных им стеснениях и войдя в разбор даже слухов... могущие только вновь возродить вредные толки"[3].

Приказав образовать новую комиссию (генерала Тимофеева), царь одновременно дал указание о направлении ее деятельности. Она должна была, главным образом, иметь своей задачей открыть „всякие отклонения от обязанностей службы со стороны властей, кои могли предшествовать и сопровождать несчастное сие происшествие". Таким образом, этой комиссии уже заранее были намечены границы, в пределах которых она должна была действовать и которыми были „отклонения от обязанностей службы" местных властей. Царь давал со своей стороны два задания комиссии Тимофеева: чтобы она „могла доискаться истины и вместе с тем отвратить все возникающие толки и дальнейшие заблуждения". Но так как эти две задачи никак нельзя было совместить, ибо открытие „истины" неизбежно должно было вновь породить „толки" о злоупотреблениях, что могло повлечь неприятности для Воронцова и было явно неугодно царю,—то генерал Тимофеев предпочел совершенно вычеркнуть из плана работ своей комиссии

[1] Лоциа. Архив. нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22.
[2] Лоциа. Архив. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[3] Лоциа. Архив. нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22.

„истину", оставив одну угодную и Воронцову и царю задачу,—„отвратить все толки и заблуждения"[1].

Комиссия Тимофеева, составленная из военных, морских и полицейских офицеров и чиновников по выбору самого Воронцова, открыла свои действия только 9 сентября 1830 г., т. е. спустя 3 месяца после восстания, когда уже над восставшими были приведены в исполнение приговоры и выслано из Севастополя огромное большинство жителей слободок. Все эти обстоятельства вполне соответствовали интересам Воронцова и давали полную гарантию, что причины возмущения будут найдены в том, что желательнее всего было бы для него. И действительно, мы видим, что с самого начала комиссия действовала согласно полученному от Воронцова „заказу" и, как пишет в своих замечаниях Грейг,—„все претензии опровергла, не входя в исследования по доказательствам, но принимала просто в основу своего мнения оправдания обижавших и не хотела исследовать то, что ей казалось невероятным"[2].

Имея столь ясную „целевую установку"—опровергнуть выводы грейговской комиссии, и приспособленную к ней „методику", следственная комиссия Тимофеева весьма успешно выполнила свою миссию, заслужив полное одобрение и Воронцова и Николая I.

Прежде всего она признала, что никакого бедствия, собственно, жители Корабельной слободки во время оцепления города не терпели, так как жили в полном достатке, получая отпускаемый чиновниками провиант в достаточном количестве и хорошего качества. Вопреки всякой очевидности комиссия Тимофеева утверждала, что и самих жалоб от жителей ни на стеснения, ни на недостаток в продовольствии за все время карантина не поступало, а начали они поступать лишь после издания приказов Грейга 11 июня под влиянием членов грейговской комиссии.

Насколько это беспримерное по своей наглости утверждение соответствовало истине, видно из того, что в архивных делах имеется много официальных документов о бедственном положении жителей и указаний на целый ряд таких жалоб. О них говорят в своих показаниях протоиерей Софроний, Скаловский. Бывший флотский начальник Севастополя Сальти еще в конце 1829 г. официально доносил о гяжелом продовольственном положении жителей, предупреждая, что он „от сих жизненных недостатков опасается каких-либо неприятных последствий, ежели не будет

---

[1] Там же. Докладн. записка Аудит. департ. Гл. морск. штаба.
[2] Лоциа. Архив нар.хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

запасных от казны дров и хлеба“ [1]. Командиры рабочих экипажей Кумелас и Бальзам в свою очередь подавали официальные рапорты еще в мае, что мастеровые жалуются на бедственное положение их семейств и т. д.

Такими же методами усердные воронцовские приспешники „опровергли“ и все остальные выводы грейговской комиссии.

Прежде всего является вопрос, кого комиссия Тимофеева, работавшая с 9 сентября 1830 г. по 5 апреля 1831 г., могла опрашивать из жителей слободок, терпевших нужду и притеснения, если все они за очень малым исключением (как мы увидим ниже) уже были высланы из Севастополя. Так, например, из 117 человек, приносивших жалобу на бедственное положение полковнику Кумеласу—после высылки осталось всего 24. Допрос этих оставшихся жалобщиков производился с таким „пристрастием“, что комиссии Тимофеева удалось добиться от них отказа от своих жалоб. По этому поводу комиссия с торжеством заявляет: „по увещанию священника показали, что они не жаловались и получали все нужное от казны, ни в чем нужды не терпели“. Если припомнить те увещевательные способы, к каким прибегал протоиерей Софроний, который теперь был непременным членом всех воронцовских комиссий, занимая в них аудиториатское кресло, и хорошо еще помнил, как его „с бесчестием“ тащили по улицам и как пришлось в церкви на коленях умолять „о не принуждении“ служить молебен „на убой“,—то станет понятным, что „увещевания“ возымели свое действие на этих жалобщиков, которые, трепеща за свою участь, поспешили отказаться от всех своих претензий.

Однако же нашлось несколько храбрых женщин, которые и в комиссии Тимофеева продолжали утверждать то, что они и раньше показывали. Никакие „увещевания“ и угрозы не подействовали на них. Тогда комиссия нашла новую причину исключить их жалобы из числа доказательств, заявив, что „прочие претендатели доказательств к жалобам не представили и потому все оные комиссия признала неосновательными и неправильными“.

А как легко комиссия Тимофеева умела отделываться и от представленных даже вещественных доказательств, видно из ее „мудрого“ заключения по поводу переданных из грейговской комиссии девяти запечатанных банок с образцами негодной муки, которой снабжались жители слободок. Комиссия Тимофеева исключила их из числа доказательств единственно потому, „что ей неизвестно,

---

1 Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.

от кого и по какому случаю поступили в первую комиссию эти банки"[1].

Так же легко „опровергла" комиссия Тимофеева и выводы первой комиссии „о самом бедственном и ужасном положении жителей Корабельной слободки". Для того чтобы удостовериться в действительном положении жителей слободки, комиссия во главе с самим Тимофеевым лично осмотрела 330 домов и сделала вывод, что „таковое („бедственное и ужасное"—*А. П.*) состояние оных жителей оказалось несправедливым, и у некоторых одеяния найдены даже в излишестве и достаточно продовольствия"[2]. Такое явное доказательство благополучия жителей должно было окончательно убедить царя, что никаких бедствий они не терпели.

Однако здесь-то на самом деле и проявился весь цинизм тех следственных методов, какими руководствовалась комиссия Тимофеева. Дело в том, что к этому времени из Корабельной слободки были по высочайшему повелению выселены все без исключения жители даже и те, которые не принимали никакого участия в восстании.

Дома осужденных были проданы с публичных торгов, на удовлетворение убытков лиц, „потерпевших от возмущения", в опустевшую же слободку поселились совершенно новые жители. На основании осмотра квартир этих совершенно новых жителей уже спустя много месяцев после восстания, комиссия бравого генерала и сделала свое заключение о полном благополучии жителей, которые жили здесь ранее во время карантинного оцепления.

Совершив такой следственный трюк, комиссия дальше еще с большей наглостью опровергла и обвинения начальства в жестоком обращении с жителями слободок. Из числа жалобщиков на телесные наказания в Севастополе каким-то чудом осталось двадцать шесть упрямцев, из которых 19 женщин, которые, несмотря на поповские „увещевания" и генеральские „уговоры", не отказывались от своих жалоб, что они были выпороты единственно за то, что просили выдать им во время оцепления казенное пособие.

С ними комиссия Тимофеева уже вовсе не церемонилась и просто объявила „жалобы на стеснения вымышленными в оправдание нарушаемого ими порядка".

„Большая часть жителей Корабельной слободки,—продолжает комиссия,—в упорстве своем выходила из границ

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22, докладн. записка Аудит. департ. Гл. морск. штаба.

[2] Там же.

повиновения, почему заведующий слободкой капитан-лейтенант Макаров был вынужден сделать некоторым из них легкое наказание, так как неправильные требования, дерзости, ослушности к отдаваемым приказаниям, неисполнение и пренебрежение карантинными правилами не могли быть извинительны и должны были прекращаться в то же время"[1].

Ну, а раз наказание розгами жителей были „вынужденными" ими же самими, были легким—так сказать, „отеческим внушением", то, следовательно, не может быть речи и о нарушении поровшими их чиновниками „обязанностей службы". Наоборот, выходит, „отечески наказывая", они как раз и были ревностными исполнителями своего служебного долга. Одно только обстоятельство упустил из виду ретивый генерал, а именно, что, если бы жалобщики действительно были хоть в малейшей мере виновны „в ослушности и неисполнении" приказаний начальства, то они давным давно были бы высланы из Севастополя. А раз они были оставлены в городе, то это значит, что за ними не было абсолютно ни в чем ни малейшей вины, ибо по удостоверению Грейга, который сам исполнял приказ царя о высылках из Севастополя, „осуждены были на высылку из Севастополя женщины с Корабельной слободки... не признанные участвовавшими в возмущении, но приговорены к изгнанию из Севастополя только потому, что жили в Корабельной слободке"[2].

Таким образом, комиссия Тимофеева весьма успешно справилась с возложенной на нее задачей и „опровергла" все выводы грейговской комиссии. Оставалось опровергнуть последнее обвинение о неправильностях при выдаче денежных пособий.

Так как неравная выдача денежных пособий доказывалась документально и отрицать ее никак уж нельзя было, то Тимофееву оставалось подыскать этому надлежащее оправдание, что он и выполнил, объясняя, что „сему причина разность нужд и неимение определительного положения к снабжению, которое было предоставлено чиновникам производить по усмотрению"[3]. Отбросив убедительное лишь для генерала объяснение неравных пособий „неимением определительных инструкций", мы должны здесь отметить, что и сам он признал, что пособия выдавались чиновни-

---

1 Там же.

2 Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, донесение гр. Чернышеву от 28/XII 1830 г.

3 Лоция. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22, докл. записка Ауд. деп. Гл. морск. штаба.

ками по своему усмотрению, т. е. другими словами по совершенному произволу.

Однако, если население слободки не терпело во время карантинного оцепления ни в чем нужды, „получая от казны вдоволь продовольствие и притом самого лучшего качества", если оно также не испытывало никакого утеснения со стороны властей, и начальство лишь изредка и чисто „отечески" слегка наказывало особо строптивых, если вообще никто из жителей и не жаловался ни на что, то почему при таком полном благополучии произошло все же „всеобщее возмущение, в результате которого оказались „ниспровергнутыми все власти города" ?! Получалось полное и ничем необъяснимое противоречие: следствие („бунт") оказывается не имело своей причины.

Понимая всю нелепость такого положения, комиссия Тимофеева нашла, наконец, из него „блестящий" выход „ничтоже сумняшеся" объявив, что „буйные же люди, не веря существованию в Севастополе заразительной болезни, не от притеснения со стороны карантинного управления произвели мятеж, но единственно от неповиновения распоряжениям начальства и собственной упорности"[1].

Итак, причина „мятежа" была найдена и как раз в том, что вполне совпадало с общими представлениями Николая I о причинах „мятежей" вообще—это дух своеволия, непокорства и свободомыслия, которые распространялись „злонамеренными людьми" в царстве „всеобщего благополучия". Это объяснение причины восстания должно было вполне удовлетворить Николая I и было наруку Воронцову, так как, отвергая какие бы то ни было беспорядки и злоупотребления в подведомственной ему области, сводило все к „буйным людям", поднявшим „мятеж" единственно по своему злонамеренному нежеланию подчиняться „благожелательным" распоряжениям „кроткого и попечительного" местного начальства.

Не беда, если таких „буйных людей", судя по конфирмациям самого Николая I, оказалось в Севастополе около шести тысяч человек, т. е. свыше 20% всего населения города.

После столь благополучного исхода дела, которое грозило Воронцову большими неприятностями, оставалось наградить ревностную и весьма изобретательную комиссию, а заодно и всех местных начальников, всемерно ей содействовавших. Это Воронцовым, как увидим ниже, и было выполнено с „высочайшего соизволения" царя, вполне удовлетворенного найденными причинами восстания.

---

[1] Там же.

ГЛАВА IX

В то время как комиссии по исследованию причин возмущения и по сбору жалоб на действия чиновников работали весьма не спешно, военно-судная комиссия, на которую была возложена расправа с самими участниками восстания, наоборот, действовала с огромной быстротой.

Военно-судная комиссия была назначена гр. Воронцовым 9 июня под председательством бригадного генерала Де-Жерве. Она делилась в свою очередь на несколько комиссий по категориям „преступников". Составлена она была почти исключительно из офицеров 12-й дивизии генерала Тимофеева. Комиссия эта, приступившая к своим действиям уже со следующего дня, т. е. 10 июня 1830 г., имела характер военно-полевого суда и судила по законам военного времени на основании Полевого уголовного уложения.

Так как в задачи комиссии Де-Жерве не входило исследование причин и самих обстоятельств восстания, а лишь нахождение участвовавших в нем лиц для их наказания, то следствие велось весьма упрощенным и ускоренным порядком.

Вопрос об участии в восстании чинов флотских и рабочих экипажей поставлен был весьма просто. Сами матросы и мастеровые должны были доказать, что они в восстании не участвовали. Кто этого доказать не мог, тот тем самым признавался виновным в нем или в крайнем случае „оставлялся в сильном подозрении", что так же, как и обвинение, влекло за собой наказание.

Облегчив таким образом для себя следственную задачу, комиссия через соответствующих высших военно-морских начальников издала распоряжение, чтобы все командиры частей составили списки нижних чинов за ответственностью своих непосредственных начальников с указанием, кто, где находился 3 и 4 июня. В свою очередь и все офицеры должны были подать своим начальникам рапорты-анкеты с ответами по целому ряду вопросов о том, где и как они проводили эти дни и как вели себя в ночь восстания.

В связи с этим Грейгом 13 июня был издан специальный приказ № 3, в котором предписывалось всем командирам „подать немедленно подробнейшее донесение о действиях и распоряжениях своих 3 и 4 числа сего месяца, показывая в таковых не токмо собственно за себя, но и каждого из его подчиненных: кто, где в продолжение полутора-двух дней находился, что делал и что видел похожего на возмущение“[1].

Этот приказ показывает, что, несмотря на то, что Воронцов и Грейг боролись между собой,—расправлялись они с участниками восстания в полном согласии.

При такой постановке следствия военно-судной комиссии оставалось лишь проводить в отношении обвиняемых всю полагающуюся по законам формальную процедуру.

Над показаниями морских офицеров был установлен двойной контроль для проверки их показаний в отношении поведения матросов. Благодаря именно этому несколько младших офицеров, как указывалось выше, были уличены в том, что они хотели скрыть участие своих команд в восстании, дав им удостоверение в нахождении всю ночь в казармах, в то время как ни их самих, ни матросов там не было (прапорщик Критилин и прапорщик Дмитриев), за что и были преданы суду.

Все обвиняемые (число которых только по военно-судной комиссии достигало 1580 человек)—и матросы, и мастеровые, и жители слободок, держались очень стойко, и среди них были весьма редки случаи оговоров своих товарищей, особенно же жители Корабельной слободки. С ними Военно-судной комиссии пришлось „повозиться значительно больше, чем с матросами и мастеровыми. Прежде всего здесь нельзя было ограничиться лишь проверкой списков, так как таких списков некому было составлять. Поэтому комиссии пришлось вести в отношении их следствие по всем правилам дореформенного негласного письменного судопроизводства с опросом свидетелей, очными ставками, священническим увещеванием, приводом к присяге, отобранием отзывов и т. д. Не даром следственное производство заключает сотни объемистых томов.

Надежды военно-судной комиссии на взаимные оговоры жителей Корабельной слободки не оправдались. Жители слободки держались очень дружно.

Сотни показаний даются почти дословно в одних и тех же выражениях. По делу о восстании ничего-де не знают, так как ничего не видели. Когда услышали звон в городе, думали, что приехал государь. Когда матросы убили Воро-

[1] Лоция. Военно ист. арх. Фонд. корп. ком., д. № 76, военно-судное.

бьева, испугались, легли от страха под стеной своего дома (или в доме) и всю ночь так пролежали, никуда не выходя. Нужды ни в чем не терпели, „путеводителей" и „наставников мятежа" никаких не знают.

Если же обвиняемый уличен был в участии в отрядах, ходивших с обысками, то давалась другая столь же трафаретная версия: был насильно взят из дома толпой, в которой никого не знает, и ходил с ней под угрозой, но никого не трогал. Поэтому военно-судной комиссии для обвинения слобожан пришлось опираться на показания доносчиков, шпионов, чиновников и офицерства.

Особенно стойко вели себя на суде некоторые из „вожаков," в частности Шкуропелов, который удостоился от комиссии такой характеристики: „замечательно скрывает общий заговор жителей Корабельной слободки с городскими жителями к бунту"[1].

Насколько дружно держались обвиняемые, уже находясь под арестом, показывает тот факт, что по сообщению Воронцова „подсудимые, кроме четырех жителей, от защитника отказались и защитник сей от начальства наряжается только для того, чтобы форма была соблюдена[2]. Обвиняемые прекрасно понимали, что пользы им от защитника никакой не будет, так как Воронцов, цинично назначил защитником эскадр-майора Чупрасова, который сам был свидетелем обвинения и выдал военно-судной комиссии многих матросов—участников восстания. Да и вообще вся судебная процедура была лишь простой формой, прикрывшей собою заранее принятое решение о беспощадной расправе с участниками восстания и всеми в нем заподозренными.

Вот почему все приговоры военно-судной комиссии составлены по одному шаблону. Один из них приводим в качестве типичного. ,,Сентенция. По указу его императорского величества комиссия военного суда, учрежденная в Севастопольской крепости для суждения на основании полевого военного судопроизводства обвиняемых в севастопольском бунте и прикосновенных к оному людей, произведя суд по всем правилам, во втором отделении означенного судопроизводства изложенным, и сообразив подробности обвинения означенных людей, сделанные им как в высочайше учрежденной следственной, так и всей военно-судной комиссиях, допросы, принесенные ими оправдания, также и против них улики и другие в преступ-

---

[1] Лоциа. Военно-истор. арх. Фонд. корп. ком., д. № 74 военно-судное.

[2] Кроме Шкуропелова и Фролова наиболее „упорствующими" были Тих. Васильев, боцм. Меркулов, каптен. Загребельный, Григ. Федоров, плотник Велицкин, денщ. Голубев, вдова Иванова.

лении доказательства,—находит симферопольского мещанина Антона Мартынова и 39 флотского экипажа матроса I статьи Никифора Пилипенко виновными в соучастии в бунте, потому приговаривает помянутых преступников Мартынова и Пилипенку, на основании полевого уложения для большой действующей армии § 39 казнить смертью. Заключена в Северном укреплении г. Севастополя. Июля 29 дня 1830 г"[1]. Следуют подписи членов комиссии, среди которых один полковник (Презус—председатель), один капитан-лейтенант, майор, лейтенант, капитан, штабс-капитан и три поручика.

Этот совершенно голый приговор, без каких-либо доказательств, мотивов и даже без определения сущности преступления, маскируемый трафаретной фразой—„виновны в соучастии в бунте", находит свое объяснение в „Толковании 137 воинского артикула," в котором сказано: „В возмущении надлежит на месте и деле самом наказать и умертвить... чтобы чрез то другим страх подать и оных от таких непристойностей удержать"[2]. Этой единственной целью,—„другим страх подать и оных от таких непристойностей удержать"—и была проникнута вся деятельность военно-судной комиссии, что прекрасно понимали обвиняемые жители Корабельной слободки, отказываясь от защитника.

Исключение в формулировке приговора было сделано лишь для жителей Корабельной слободки, в котором более подробно описана их вина и в особенности подчеркнуто их нежелание выдать зачинщиков. Но опять-таки без определения индивидуальной вины огромного большинства слобожан. В сентенции военного суда мы читаем, что жители Корабельной слободки „оказались виновными в общем волнении и неповиновении начальству, также в сокрытии при суде самих зачинщиков, подавших повод к таковому неповиновению"[3]. Из этой сентенции, пожалуй, можно сделать вывод, что главные организаторы восстания так и остались неизвестными суду.

Поставленной правительством целью—внушить всему населению Севастополя и в особенности матросам ужас пред „карающей десницей" правительства объясняются и те невыносимые условия и бесчеловечные издевательства, которые терпели обвиняемые, содержавшиеся в крепостных казематах на Северной стороне: ,,чиновники

---

[1] Лоциа. Арх. военно-истор. Фонд. корп. ком., д. № 75. военно-судное.

[2] Лоциа. Военно-истор. архив. Высоч. конф. доклады по военно-судным делам с августа 1830 г. по январь 1831 г.

[3] Лоциа. Военно-ист. арх. Фонд корп. ком., д. № 90.

продолжали попрежнему издеваться над женщинами, не давали им свидания с мужьями, хотя это по соглашению между Воронцовым и Грейгом было разрешено. Не позволяли передавать белье заключенным, из них первый Семенов и другие чиновники, при графе находившиеся". Это — замечает Грейг,—„чувство поругания и ненависть противу оскорбителей, не знавших границ своевольству, не могли быть утишены... Люди сии оставались совершенно беззащитными и вместо правосудия и сострадания встречали жестокость, посрамление и нищету" [1].

Колесо судебной машины вертелось с необычайной быстротой. К концу июля были вынесены уже все приговоры и тотчас же конфирмованы Воронцовым, который все время оставался на Северной стороне Севастополя. Поразительно быстро конфирмации Воронцова были доставлены к царю, который немедленно же их рассмотрел и со своими „поправками" столь же быстро отправил обратно, так что уже 11 августа 1830 года смертные приговоры и наказание шпицрутенами были приведены в исполнение. Невероятная спешка, с которой царь стремился расправиться с участниками восстания, дает новое подтверждение, что „венценосец" был сильно напуган севастопольскими событиями и стремился как можно скорей удовлетворить свое чувство мести за понесенный испуг.

Задача военно-судной комиссии – своими приговорами внушить всему населению Севастополя страх и трепет, чтобы в корне пресечь всякую возможность повторения подобного рода „буйственных явлений",—была ею выполнена весьма успешно. Приговоры носили явно выраженный характер массового террора, а не наказания в соответствии с „мерой содеянного" каждым из „обличенных". Более или менее индивидуальный подход был лишь в отношении главных „зачинщиков", относительно которых еще как-то определялись градации вины и наказания. В отношении же матросов флотских и рабочих экипажей террористический характер приговоров явствует из того, что здесь не делалось никаких подразделений и не устанавливалась степень виновности отдельных лиц. Так из всего наличного состава 29 флотского экипажа в 74 человека военно-судная комиссия постановила за исключением одного, всех остальных, как „начинщиков бунта", принимавших „сильное участие в бунте, подходя с дубинами к 38 и 39 флотским экипажам, склоняли их к мятежу, ворвались с другой толпой во двор экипажей и присоеди-

[1] Лоциа. Арх. нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20, Дебоширства и бунт в Севастополе.

нили некоторых из них к своей толпе,—наказать смертью", с заменой трем несовершеннолетним смертной казни гражданской смертью, т. е. лишением всех прав состояния и ссылкой в каторгу. Из 228 матросов 38 и 39 флотских экипажей 217—за то, что „соединились с ворвавшимися к ним матросами 29 флотского экипажа и действовали с ними за одно с оружием в руках,—постановлено десятого по жребию казнить смертью", т. е. 21 человека, а из 11, имеющих менее 20 лет,—один по жребию же приговорен к гражданской смерти.

Из 389 нижних чинов 17-го и 18-го рабочих экипажей, которые, „услышав звон и крики „ура", бросились к воротам, сломали замок, присоединились к толпе и участвовали в буйстве и убийстве Столыпина", 357 постановлено казнить смертью, а из 32 несовершеннолетних 10-го по жребию казнить гражданской смертью.

Из 78 главных виновников, жителей Корабельной слободки, как военного, так и гражданского звания людей постановлено 75 наказать смертью, одного шпицрутенами, прогнав сквозь строй в 500 человек один раз, одного наказать гражданской смертью и одного разжаловать в рядовые.

Шкиперский помощник Александр Кузьмин, признанный виновным „в распоряжении по доверенности к нему жителей слободки предупредительною частью, состоявшею из бунтующих мужчин, которых собирал во фронт, разделял на две части, присылал на все те пункты, которые по общему рассуждению бунтующих жителей были свободными по вторжению в слободку", был присужден к смертной казни.

Из 16 матросов 34-го, 42-го и 37-го флотских, 53-го ластового и 16-го рабочего экипажей и 3 женщин (все жители Корабельной слободки), признанных виновными в том, что „вышли из своих домов и 4 дня ночевали на улице, оказывали неповиновение карантинному начальству и не разошлись по его требованию", тринадцать присуждены к гражданской смерти, а двое „оставлены в сильном подозрении".

30 человек 16-го рабочего экипажа, как „отлучившиеся из экипажа, несмотря на запрещение командира", приговорены к тюремному заключению на 3 года.

Из 370 остальных жителей Корабельной слободки, среди которых было 297 женщин, признанных виновными „в общем возмущении, неповиновении начальству, сокрытии при суде самих зачинщиков",—361 приговорены к наказанию гражданской смертью. Имущество осужденных подлежало конфискации на удовлетворение убытков лиц, „потерпевших от возмущения".

Из общего числа 1580 человек, преданных суду, нам удалось ознакомиться с судебными приговорами лишь о 1191 подсудимом. Из этого числа к смертной казни было присуждено 626 человек, к гражданской смерти 382 человека и к тюремному заключению 30 человек.

В данные сведения не вошли приговоры о нижних чинах 28-го, 31-го, 33-го, 36 го и 40-го флотских экипажей, 13-го и 14-го ластовых экипажей, чинах Елецкого полка и отдельных мелких команд. Но, судя по приведенным приговорам, участь их не могла быть лучше, в особенности для 113 солдат Елецкого полка. Приговоры эти были настолько чудовищно жестоки, что сам Воронцов, с ведома которого они, несомненно, выносились, не решился их утвердить. Что послужило причиной столь неожиданного „великодушия" со стороны Воронцова, человека холодного и жестокого по утверждению современных ему мемуаристов,—трудно сказать. Быть может, это был сознательный маневр, и приговор был нарочно усилен для того, чтобы произвести впечатление на массы, а затем показать этим же массам „великодушие" графа. Вернее же всего, что обстоятельства, предшествовавшие восстанию,—жестокости и злоупотребления в отношении жителей слободок и матросов,—послужившие одной из главных причин восстания, были настолько хорошо известны всему городу, что вынесение столь чудовищного приговора должно было еще более усилить толки о них. А это могло внушить Воронцову опасение, как бы о них не было доведено до сведения царя помимо Грейга и другими лицами.

По конфирмациям Воронцова были установлены следующие наказания. Смертная казнь была утверждена лишь для семи главных „начинщиков". Постановлено расстрелять: квартирмейстера Тимофея Иванова, признанного „виновным в бунте из числа главных лиц, в неповиновении начальству и грабежах" (последнее обвинение явно клеветническое и могло быть основано единственно на том, что в дом Иванова сносилось отнятое у грабителей имущество, так как никаких указаний в делах, что Иванов грабил чье бы то ни было имущество,—нет), унтер-офицера Крайненко, признанного виновным „в истребовании расписки о несуществовании чумы и в буйстве в храме божием", мещанина Якова Попкова—„в убийстве ген.-губерн. Сталыпина и начальника карантина полк. Стулли", фельдфебеля Петра Щукина—„в насильственном истребовании подписки и бесчинии в храме божием", квартирмейстера Кондратия Шкуропелова—„в неповиновении начальству и в участии в толпе, убившей Степанова", сле-

саря рабочего экипажа Матвея Соловьева—„в бунте, в угрозах контр-адм. Скаловскому ножом“ и боцмана Федора Пискарева—„в предводительстве толпы, вооруженной ружьями и дубинами, побоях и намерении заколоть дворянина Попова“.

Сопоставление этих приговоров с другими приводит нас к ранее высказанному убеждению, что наказания определялись не по степени виновности в соответствии с расценкой деяний по военно-полевому кодексу, а по той роли, которую играли данные лица (по сведениям комиссии) в качестве руководителей восстания. И помимо официальных мотивов были, повидимому, другие, единственно принимавшиеся комиссией во внимании. В самом деле, иначе совершенно было бы непонятно, почему Соловьев, признанный виновным лишь в буйстве и угрозе ножом Скаловскому, приговорен к смертной казни, а матрос Никита Кулеш, признанный виновным „в буйстве, грабеже, в выстреле в офицера и угрозе ножом матросу Попову“—лишь к наказанию плетьми и ссылкой в каторгу. Почему Крайненко и Щукин только за насильственное отобрание подписки о неимении чумы и „бесчиние“ в церкви приговорены к смерти, а Дарья Семенова „за соучастие в убийстве Сталыпина“ и Терещенко—„за буйство, дерзости к Скаловскому и насильственное влечение священика“,—к плетям и каторге?

Из числа остальных жителей слободки, приговоренных судом к смертной казни, последняя по конфирмации Воронцова была заменена различными наказаниями от битья линьками до проведения шесть раз сквозь строй в 500 человек, т. е. к 3000 ударам шпицрутенами и отсылке после наказания в каторжные работы.

О матросах 29-го флотского экипажа Воронцовым решено—10-го по жребию прогнать сквозь строй в 500 человек шесть раз, после чего сослать на 10 лет в каторжные работы, а остальных на 5 лет каторги.

Надо иметь в виду, что шпицрутены и плети относились к разряду тягчайших наказаний, так что многие не могли вынести провода сквозь строй даже одного раза. В таких случаях наказание прерывалось, и несчастный в полумертвом состоянии отправлялся в госпиталь, где его недели две подлечивали, чтобы затем снова избивать и снова лечить, пока он не получал всего назначенного количества ударов, или же умирал. Так из предписаний Тимофеева к Патаниоти мы узнаем, что подсудимый Зайченко был отвезен в госпиталь после прогона сквозь строй один только раз, а из шести других не выдержали наказания четверо, относительно которых последовало распоряже-

ние Тимофеева: „По выздоровлении донести мне для окончания над ними наказания"[1].

В отношении матросов 38-го и 39-го флотских экипажей (228 человек) решено: 10-го по жребию отослать в Бобруйскую крепость в арестантские роты на 20 лет, остальных, включая и несовершеннолетних,—в арестантские роты на 5 лет.

Из 389 нижних чинов 17-го и 18-го рабочих экипажей постановлено—10-го по жребию прогнать сквозь строй в 500 человек шесть раз и сослать в каторжные работы на 10 лет, 351 человека отправить на службу в дальние места, а в отношении 32 несовершеннолетних приговор комиссии оставить в силе.

В отношении матросов 34-го, 37-го, 42-го флотских экипажей, 13-го ластового и 16-го рабочего экипажей решено было заменить гражданскую смерть ссылкой в Сибирь с конфискацией имущества и продажей домов в пользу казны.

Кузьмину смертная казнь была заменена наказанием шпицрутенами—сквозь строй в 500 человек шесть раз—и каторжными работами. Для 30 человек матросов 16-го рабочего экипажа тюремное заключение на три года заменено было заключением на тот же срок в арестантские роты и возвращением потом опять на службу, что по существу было ухудшением их участи.

Для 361 жителя Корабельной слободки, присужденных к гражданской смерти, последняя была заменена ссылкой в Сибирь с конфискацией всего имущества и продажей домов.

В числе 1580 осужденных было 497 лиц гражданских, остальные военные морского и сухопутного ведомств. Из морского ведомства в числе подсудимых значатся: матросов 17-го рабочего экипажа 173 человека, 18-го рабочего экипажа 251 человек, 16-го рабочего экипажа 46 человек, всего мастеровых рабочих экипажей—470 человек. Матросов флотских экипажей 480 человек, из них 220 человек 39-го флотского экипажа, 89 человек 29-го экипажа, 32 человека 38-го экипажа, 6 человек 28-го экипажа, 6 человек 31-го экипажа, 3 человека 33-го экипажа, 6 человек 34-го экипажа, 6 человек 36-го экипажа, 7 человек 37-го экипажа, 40 человек 40-го экипажа, 2 человека 42-го экипажа. Матросов ластовых экипажей 27 человек, денщиков 10, разных флотских команд нижних чинов—22 человека, солдат разных частей 128, из которых 113 Елецкого полка.

Интересна судебная статистика лиц гражданского населения. Из общего числа 497 человек главную массу

[1] Лоция. Морской архив, д. № 100 о бунте, случившемся в Севастополе

составляют жены и вдовы отставных нижних чинов, матросов и мастеровых, которых насчитывается 423. Дальше—20 отставных нижних чинов, 13 отставных чиновников и чиновниц, 10 мещан, 9 лиц духовного звания, 8 купеческого звания, 8 евреев и евреек, 7 турецко-подданных мужчин и женщин, 3 помещичьих крестьянина, 3 балаклавских грека и 1 поселянин.

Среди лиц купеческого звания были представители мелкой буржуазии и, так называемые, „сыновья купеческие," а среди лиц духовного звания всякого рода „отщепенцы" вроде недоучившихся бурсаков, пономарей и т. п. В числе подсудимых не было ни одного не только попа, но и дьячка.

Особо стоит вопрос об осужденных в связи с восстанием офицерах, общее количество которых достигает 46 человек. В этом числе 17 пехотных, а остальные морского ведомства. Среди них имеется: один генерал-лейтенант (комендант Турчанинов), пять подполковников, один контр-адмирал, один капитан первого ранга, два капитан-лейтенанта, один капитан третьего ранга, лейтенант, мичман, два констапеля, капитан, пять майоров, четыре штабс-капитана, семь поручиков, шесть подпоручиков и девять прапорщиков. Таким образом, огромное большинство — младшие офицеры. Почти все они, за исключением 7 человек, обвинявшихся в соучастии в восстании и в укрывательстве своих матросов, обвинялись в бездействии и в упущении по службе. При вынесении приговоров офицерам также, повидимому, негласно учитывалось не только то, что они делали или не делали во время восстания, но главным образом их отношение, как к самому восстанию и восставшим, так и ранее к карантинным мероприятиям, и, быть может, к генерал-губернатору Сталыпину и др. Без этого предположения трудно понять, почему за одно и то же преступление выносятся разные приговоры, причем одни присуждаются к наказанию, а другие, совершившие те же проступки, оправдываются и даже объявляются достойными награды. Так, например, поведение контр-адм. Скаловского и генерал-адъютанта Турчанинова в момент восстания должно было бы выглядеть одинаково преступным в глазах и военно-судной комиссии и высшего начальства. Однако отношение к событиям их было разное: в то время, как Турчанинов сказался больным, Скаловский, исполняя требования восставших, в то же время организовывал за ними шпионаж и вызывал военную помощь. В итоге Скаловский уцелел, а Турчанинов был обвинен не только в бездействии, но и в трусости. Военно-судная комиссия сама не заметила, как, вынося последнее обвинение, она поставила в не совсем

удобное положение самого царя, который за боевые заслуги во время войны наградил Турчанинова не только высшим военным чином и орденами, но и золотым оружием с надписью „за храбрость". Таким образом выходит согласно приговора, что трус получил от царя высшую награду за храбрость. Или же, что генерал, храбрый на поле битвы пред лицом вооруженного неприятеля почему-то вдруг „струсил", имея в своем распоряжении около 900 человек солдат и матросов при 3 пушках против малоорганизованных отрядов восставших, из которых только часть флотских матросов имела ружья.

По нашему мнению, причину „трусливого" поведения как генерала Турчанинова, так и ряда других, главным образом, младших офицеров, уводивших свои отряды без малейшей попытки к сопротивлению со своих постов, можно усмотреть не только в ненадежности воинских частей, но и в тех социальных противоречиях, какие имели место в офицерстве в первой половине XIX века. Личное отношение к делу Турчанинова Николая I, который нашел приговор об исключении его со службы слишком мягким, заменил разжалованием его в солдаты и сделал выговор за мягкость председателю военно-судной комиссии и аудитору,—также показывает, что дело здесь не в „трусости". Это подтверждается и самим текстом высочайшей конфирмации, где вина Турчанинова определена в следующих выражениях: „Имея в своем распоряжении столько войск и артиллерию в явное предосуждение к своему званию и как бы обвиняя начальство в несправедливом принятии карантинных мер, удовлетворил дерзкому и наглому требованию мятежников о даче им письменного удостоверения о несуществовании в г. Севастополе чумы"[1]. А между тем, такую же подписку безнаказанно для себя дали Скаловский, протоиерей Гаврилов и другие. Дело, следовательно, здесь не в самой подписке, а в осуждении карантинных мероприятий, которое, как мы видели, делалось частью севастопольского офицерства. Доказательство того, что сама по себе трусость не играла для высшего начальства решающей роли, мы находим в другом приговоре о мичмане Макарове. Трусость его не вызывает ни малейшего сомнения, так как, по собственному признанию, он испугался восставших матросов и от испуга спрятался где-то в казарме, чуть ли не под койкой, пролежав там до утра. Военно-судная комиссия в виду такого признания определила разжаловать его на 6 месяцев в солдаты. Однако

[1] Лоция. Военно-ист. архив. Высоч. утв. доклады по военно-суд. дел. с августа 1830 по янв. 1831 г.

Воронцов не только этот приговор отменил, но наставительно объяснил в своей конфирмации, что струсивший мичман достоин не наказания, а награды, которую он только потому-де фактически не дает, что на мичмане оказалось маленькое „пятнышко“, а именно: он сделал „ошибку“ (так и пишет Воронцов), не сообщив, что матрос Сажин „нашел“ чьи-то вещи и спрятал их с ведома Макарова. Попросту же говоря, украл в одной из разгромленных квартир, а мичман Макаров укрывал одного из тех грабителей, которые использовали восстание в своих корыстных целях и с которыми сами восставшие беспощадно расправлялись. Таким образом, единственный офицер из числа подсудимых, оказавшийся достойным не наказания, а награды,—был укрывателем краденого. В чем же секрет того, что этот явный трус и косвенный соучастник грабителей оказался достойным награды?

Это нам откровенно сообщает Воронцов в своей конфирмации. Оказывается, Макарову, прятавшемуся в казармах, удалось многое подслушать и подсмотреть, в результате чего им был выдан судебной комиссии ряд активных участников восстания, что и отмечает Воронцов в следующей своей аттестации: „мичман Макаров отлично исполнял свои обязанности и во время бунта и в обнаружении его участников“[1].

Эти два примера с чрезвычайной яркостью вскрывают пред нами истинное существо всей судебной процедуры по Севастопольскому восстанию, единственной целью которой была не только скорая и беспощадная расправа с непосредственными его участниками, но и искоренение самого „духа свободомыслия и либерализма“.

Несмотря на всю жестокость приговоров даже и после их смягчения Воронцовым, Николай I, который не мог знать истинных своекорыстных причин, побудивших его любимца к проявлению не свойственного ему „мягкосердечия“,—остался крайне недоволен их „мягкостью“. Однако отменять конфирмации Воронцова и восстанавливать приговор военно-судной комиссии было опасно в политическом отношении, так как этим самым подрывался бы его собственный авторитет, ибо Воронцову особым высочайшим указом была сообщена „вся полнота власти“ по подавлению восстания. Не имея, таким образом, возможности усилить наказания, жестокий самодержец нашел способ удовлетворить свои мстительные чувства, расширив круг лиц, подлежащих наказанию. В „высочайшем рескрипте“ на имя г. Воронцова от 6 августа 1830

[1] Лоциа. Морск. истор. архив. Архив морск. мин-ва № 1549 (д. № 721) о приведении в исполнение конфирмации офицеров.

года царь писал: „Печальные события, совершившиеся в Севастополе, показывают необходимость привести наконец предположение, чтобы чины морского ведомства не имели в сем городе собственных домов, также принять и другие меры для истребления духа своеволия и непокорности, столь неожиданно оказавшегося на самом деле. Убедившись сим, я приказал адм. Грейгу всех женатых нижних чинов, находящихся в Севастополе, равно и имеющих там собственные дома, перевести в Херсон, а вам вместе с сим поручаю: женам их и всем прочим женщинам, живущим в так называемых слободках, выдать паспорта и выслать из Севастополя, куда кто пожелает, слободки же уничтожить совершенно. Всех отставных нижних чинов, поселившихся в Севастополе, отправить с их имуществами и семействами в Керчь и поселить их в сем городе и окрестностях его. Детей мужеска пола учавствовавших в бунте людей всех состояний, старее пяти лет, передать в распоряжение графа Витта для отсылки через военное поселение в батальоны военных кантонистов“[1].

Переселению в Херсон подлежало, считая вместе с женами и детьми, всего 4260 человек. А так как столь большого количества нельзя было разместить в херсонских казармах, то 25 сентября 1830 года Николай I дал второй „высочайший указ“ Воронцову, в котором предлагалось: „Всех людей 17-го и 18-го рабочих экипажей, кроме подлежащих отдаче в арестантские роты, которые не признаны виновными по делу о возмущении, отправить вместе с офицерами в Архангельск. Равным образом отправить в Архангельск всех женатых нижних чинов флотских и других морских команд, находящихся в Севастополе, за исключением тех, кои во время возмущения были в отсутствии и вообще тех, кои в оном не участвовали, а также и 31-й флотский экипаж, явивший при сем печальном событии особенный пример повиновения начальству, оставить в Севастополе. Из женатых нижних чинов, отправляемых в Архангельск, имеете формировать роты. Жен их отправить в Архангельск особо с паспортами, не дозволяя следовать с мужьями, выдав им на дорогу до Архангельска по 10 рублей. Детей до 8 лет оставить при матерях, а кантонисты старее 8 лет, чтоб были отданы в распоряжение графа Витта“[1] (начальника военных поселений).

[1] Хартахай. Цитир. соч., стр. 394.

[2] Лоциа. Морской истор. архив. Архив морск. мин-ва, № 891 (д. № 202).

Таким образом, „в развитие“ судебных приговоров, кроме лиц, признанных виновными в восстании, подлежали высылке из Севастополя в Архангельск все решительно мастеровые 17 и 18 рабочих экипажей, которые признавались самим царем в нем не участвовавшими. Той же участи подвергались и их офицеры. Высылались туда же все вообще женатые матросы всех флотских и других команд за очень небольшим исключением. Высылались в Керчь все отставные нижние чины (не признанные виновными в восстании) лишь потому, что вообще „отставные нижние чины принимали участие в бунте“.

Но наиболее жестокой была высылка („куда хотят“) не только жен высылаемых матросов, но всех вообще женщин, проживавших на слободках, ни в чем не обвиненных, имевших лишь несчастье проживать в „революционном гнездилище“. Царь оказался еще жесточе Воронцова. Если тот остановился перед смертной казнью женщин, то „европейский рыцарь“, как любил себя называть Николай I, не постеснялся излить свой гнев не только на ни в чем неповинных женщин, но даже на малолетних детей. Причем, если дети „старее 5 лет“ обвиненных родителей, как бы несли ответственность за них, то отдача в военные поселения детей „старее 8 лет“, родители которых были высланы из города только за то, что имели на слободках дома,—можно объяснить лишь бессмысленной местью детям, которые, как видно из материалов следствия, в значительном количестве следовали за своими матерями во время ночных обысков.

Усердие местного полицейского начальства пошло еще дальше приказов царя. Так заседатель Якубовский доносит рапортом от 23 сентября 1830 г., что им высланы в отдаленные места „все бывшие до приезда моего в Севастополе на городской земле матросские жены с детьми“[1]. А из предписания губернатора полиции мы узнаем, что высланы были при этом из города без имущества и такие женщины, которые, не только не были повинны в возмущении, но даже в это время не находились в городе и которые поэтому высылке вообще не подлежали[2].

Первые казни были совершены публично 11 августа 1830 г. по распоряжению Воронцова одновременно в трех концах города: у Корабельной слободки, у Артиллерий-

[1] Крымархив. Фонд канцел. Таврич. губернатора, д. 403 (архив. 463) о Севастопольском бунте.

[2] Там же.

ской бухты и у шлагбаума, т. е. у места жительства наиболее активных участников восстания в целях их устрашения[1]. При этом обращают на себя внимание два факта. Первый, вполне подтверждающий ядовитое замечание адм. Грейга, „что карантинные строгости были лишь для простого звания людей". В самом деле с 1 августа по приказу ген. Тимофеева в Севастополе снова был установлен „строгий карантинный термин" в виду того, что медицинские чиновники вновь обнаружили в городе столь выгодную для них „чуму". Однако на день одиннадцатого августа этот карантинный термин не только был отменен, но жителей насильно сгоняли толпами к местам казни с тем, чтобы с 12 августа вновь восстановить между ними полное разобщение.

Второй чрезвычайно замечательный факт тот, что жителей пришлось насильно сгонять к месту казни. Об этом прямо говорится в „изложении о ходе событий": „жителям (в этот день) дана полная свобода смотреть на совершение казни, даже они были вынуждаемы к тому"[2].

Поздней осенью началась отправка осужденных в каторжные работы и в арестантские роты (в Сибирь, Динабург и Бобруйск), а также высылка в Архангельск женатых матросов с женами и высылка из слободок всех вообще женщин. Слободки в конце концов не были разрушены, так как там было много конфискованных домов, которые было не выгодно разорять и которые были проданы с публичных торгов. Хребет же беззакония был снесен до основания.

Если пребывание осужденных в крепостных казематах было крайне тягостно, то высылка происходила еще в худших, поистине бесчеловечных условиях, свидетельство чему мы находим в официальных бумагах.

В Сибирь и в арестантские роты в Бобруйск и Динабург было отправлено до нового года 778 человек. Теплой одежды и обуви в достаточном количестве для арестантов заготовлено не было, и многие отправлялись раздетые и разутые. Так, например, командир Таврического внутреннего гарнизонного батальона, конвоировавшего арестантов, доносил рапортом от 30 сентября 1830 г. Таврическому губернатору, что „многие из арестантов, следующих в Бобруйск, доставлены босые"[3].

Еще в худшем положении оказались высылаемые из Севастополя в Архангельск жены матросов с детьми, которым на весь путь было выдано по десяти рублей. Между тем им предстояло пройти пешком в зимние месяцы свыше

[1] Лоция. Морск. истор. архив, д. № 100.
[2] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 20.
[3] Крымархив. Фонд канцел. Таврич. губерн., д. 403 (арх. 436).

3000 верст. Эту меру нельзя рассматривать иначе, как обречение их на смерть от холода и голода. Так поняли это и сами высылаемые женщины, многие из которых разбежались по окрестностям Севастополя, скрываясь в лесах и пещерах, где гибли от стужи и голода.

В не лучшем положении оказались высланные „куда хотят" жительницы Корабельной слободки, дома и имущество которых остались в Севастополе. Им вовсе не дали никакого пособия, ибо Воронцов „не видел надобности давать матросским женам, высланным из Севастополя, денег на прокорм, так как можно в Таврической губернии найти работу". Это было также типичное для Воронцова лицемерие, прикрывавшее подлинную жестокость, так как одновременно было издано распоряжение, воспрещающее жителям окрестных деревень принимать их к себе[1].

Положение жертв царской мести так описано в официальном документе—„записке об изложении хода событий в Севастополе": „Очевидцы изгнания (женщин и детей) не могут без трепета вспомнить о сем плачевном событии, когда рыдание матерей в рубище и вопль полунагих детей и даже грудных младенцев, изгоняемых из хижин своих среди ужасной нищеты и изнурения, в ненастное осеннее время на явную гибель, раздирали горестно сердце человека... Столь несчастное состояние осужденных на то семейств, страдания невинных детей и самые жалобы матерей не могли ли поселить в народе, особенно в простолюдных, чувство ропота и ослабить доверенность и уважение к правительству?—задает вопрос автор записки,—ибо носился слух, что многие мужья и жены, разлученные таким образом, просили разрешения вступить в новые браки, и начальство не в состоянии отвратить тех распутств, кои суть следствие разорванных супружеств и которые ведут к истреблению в народе доброй нравственности и к возрождению пагубного действия буйных страстей, за коими следуют и самые общественные беспорядки"[2].

Опасение последних и легло в основу ходатайства Грейга перед царем „об облегчении участи вдов и сирот, изгнанных из Севастополя". В личном письме Николаю I Грейг, между прочим, писал: „Нижние чины, не причастные к возмущению и бывшие во время оного в кампаниях, кои при отличном усердии жертвовали жизнью службе вашего императорского величества, имели знаки отличия, возвратясь из отлучки, с горестью увидели одни лишь опустошенные и разоренные свои

[1] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 22.
[2] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 20.

хижины, не найдя в них ни жен, ни детей, осужденных к изгнанию... Теперь они влачат бесприютное существование в окрестностях Севастополя в деревнях и пещерах"[1]. Причем, как мы видим из другого официального документа,—донесения начальнику главного морского штаба Чернышеву: „Осужденные на высылку из Севастополя с Корабельной слободки матросские жены, коих мужья находились в море, по исследованию комиссии не признаны участвовавшими в возмущении, но приговорены к изгнанию из Севастополя только потому, что жили в Корабельной слободке, где некоторые из живущих признаны виновными,—оставили в Севастополе домики со всем имуществом, быв выгнаны из Севастополя с одними своими детьми... Приходилось видеть, что мужья с одной стороны карантинной линии, а жены—с другой переговаривались и рыдая проклинали участь свою и были в совершенном отчаянии... мужья и отцы передавали чрез линию куски хлеба своим женам и детям"[2].

Этот красноречивый документ отлично показывает, как „милостивый монарх" отблагодарил своих матросов, „жертвовавших за него своего жизнью" и награжденных орденами „за храбрость", изгнав из города без имущества их жен, вся вина которых была лишь в том, что они имели несчастье жить на Корабельной слободке. Трудно найти более яркую характеристику отношения „обожаемого монарха" к своим „верноподданным сынам".

Таких „морского ведомства нижних чинов, не участвовавших в возмущении, кои лишились жен и детей" было 161, а у них детей—83. „Нижних чинов, не участвовавших в бунте, у коих взяты малолетние дети и поступили в распоряжение графа Витта,—112". Таким образом, 197 детей, родители которых согласно решениям военно-судной комиссии, не принимали вовсе никакого участия в восстании, принесены были в жертву царской мстительности.

Это не считая тех детей, родители которых в той или иной степени понесли наказание по решению военно-судной комиссии или высланы были в Архангельск по приказу царя. А таких высланных было свыше 6000 человек.

Можно себе представить, сколько еще было погублено или искалечено детских жизней! Трудно вообразить, что за ужасные условия были в военных батальонах кантонистов, где в казармах были сосредоточены под надзором „дядек" из солдат тысячи детей в возрасте от пяти лет!

---

[1] Лоциа. Морской истор. архив, архив морск. мин-ва 1482 (д. № 824).
[2] Лоциа. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22. Донесение гр. Чернышеву от 28/XI—1830 г.

Такая дикая расправа с женщинами и детьми, которые были ни в чем неповинны и умирали от холода и голода, скитаясь, как дикие затравленные звери в окрестных лесах, была сама по себе отличной агитацией против самодержавного строя и жестокого монарха, чего недопонял Николай I и что пытался разъяснить ему Грейг, советуя (в единственно возможной, конечно, форме „ходатайства“) об облегчении участи „сих несчастных“.

Только спустя почти десять месяцев, а именно 16 июля 1831 г., когда было уже поздно, и многие женщины и дети успели погибнуть в лесах или по пути в Архангельск, царь соблаговолил разрешить отправить жен и детей в Архангельск на казенный счет, а малолетним детям и женам, не участвовавшим в восстании, вернуться к своим отцам и мужьям, высланных же из города жен и вдов поселять в Керчи. В возвращении детей, отданных в кантонисты, родители которых вовсе не участвовали в восстании, Николай отказал.

Насколько эта „высочайшая милость“ была запоздалой, видно из того, что ко времени издания указа в окрестностях Севастополя оставалось в живых из женщин, подлежавших отправке в Архангельск, только 28 и при них детей 31.

Также было отказано Николаем I и в ходатайстве и. о. Бессарабского и Таврического генерал-губернатора Красовского о разрешении вернуться в Севастополь или выехать к своим родственникам в другие места, престарелым и нуждающимся „отставным нижним чинам не участвовавшим в восстании, но высланным в Керчь, где они терпели нужду во всем“. Им лишь дана была „подачка“ в 100 руб. „на обзаведение“.

ГЛАВА X

Так закончилась царская расправа не только с участниками восстания и зараженными „буйственными чувствами" матросами флотских и рабочих экипажей, но и со всеми вообще жителями слободок, в том числе престарелыми ветеранами царской армии, вдовами, женами и детьми, не принимавшими участия во всеобщем возмущении—в целях радикального „истребления духа своеволия и непокорства".

После этого оставалось лишь вознаградить лиц, понесших убытки от восстания, и всех, принимавших участие в подавлении мятежа, что и было сделано с „царской щедростью".

Убытков от восстания было заявлено в специальную комиссию, созданную для этого Грейгом под председательством полк. Карандино, на сумму 126 490 р. 49 $^{1}/_{4}$ к. Из этой суммы комиссия без особого торга сочла возможным уплатить потерпевшим 123 309 р. 10 к., т. е. неоплаченных претензий по сравнению с заявками, которые, как надо полагать, были далеки от преуменьшения, оказалось всего лишь 3181 руб., т. е. 2 $^{1}/_{2}$ %. Такая щедрость в оплате убытков объясняется тремя причинами: во-первых, классовым составом потерпевших, во-вторых, тем, что под видом возмещения убытков некоторым фактически давалась награда, и наконец, самое главное, что вознаграждение шло за счет имущества, конфискованного у осужденных и высланных из города.

В самом деле, в числе 48 подавших заявления об убытках, мы видим 22 офицера с их семьями, 9 медицинских и карантинных чиновников, 4 продовольственных комиссара, 6 купцов, одного попа.

Заявленные и удостоверенные убытки некоторых из заявителей носят явно преувеличенный характер. Так, например, семья генерала Примо заявила, что стоимость разгромленного в квартире имущества составляет 40 643 руб. (уплачено 39 569 руб.). Поп Кузьменко потребовал 11 212 р. 88 к., вдова комиссара Семенова—11 027 руб. (без стоимости дома, который был разрушен), капитан-лейтенант Осадчий—5 077 руб. (без стоимости дома) и т. д. Более „честными" оказались купцы, которые на этот раз подали

свои счета „без запроса“ и они были в пределах не тысяч, а сотен рублей, что, вероятно, более соответствовало вообще стоимости уничтоженного квартирного имущества[1].

Согласно постановления Комитета министров „потерпевшие убытки должны были быть вознаграждены от продажи конфискованного имущества с публичного торга, принадлежащего осужденным бунтовщикам, а недостаток — из 7103 р. 74 к. артельных и других денег, причитающихся нижним чинам, сосланным в Бобруйск“[2].

Наказание матроса шпицрутенами.

Таким образом, на удовлетворение убытков было взято не только имущество осужденных, но и артельные деньги матросов, т. е. деньги, идущие на питание.

Чрезвычайно любопытно постановление Комитета министров в отношении ходатайства местных властей о вознаграждении особо некоторых лиц. „Если кому-либо из пострадавших в Севастополе и предположено было сделать особое от правительства вспомоществование, то сие отнюдь не должно быть произведено в виде законно следуемого вознаграждения, но единственно как милость монаршая, по отличным

[1] Лоциа. Военно-исгор. архив, д. № 909, об учиненных мятежниками во время возмущения буйствах и ограблениях.

[2] Там же. Журнал Комитета министров от 15/IX 1831 г. № 232.

каким либо заслугам, или другим уважениям и по особому представительству от начальства"[1].

Насколько щедро было царское правительство в вознаграждении потерпевших от восстания, настолько же оно было скупо и придирчиво при исчислении убытков, понесенных севастопольскими жителями от действий карантинных и прочих чиновников.

Комиссией принимались жалобы на убытки, понесенные жителями слободок от незаконного истребления их имущества во время карантинного оцепления. Но здесь уже был совсем другой критерий оценки имущества и доказательств убытков. Благодаря этому из общей суммы понесенных от незаконных действий убытков в 32 002 руб. удовлетворено было всего лишь 4988 руб., т. е. менее 18%[2].

Но уплачивая и эту ничтожную сумму, правительство ведет длительную и придирчивую переписку. Одного Комитет министров не заметил, утверждая эту ничтожную сумму, а именно, что, выплачивая убытки от незаконных действий чиновников, он тем самым признавал наличие незаконных действий чиновников во время всеобщего оцепления, т. е. как раз то, что он же категорически отрицал в своем постановлении по спору между Грейгом и Воронцовым.

Делая всячески „экономию" на оплате убытков жителям слободок от незаконных действий чиновников, правительство вместе с тем с необыкновенной щедростью награждает наряду с усмирителями восстания и этих чиновников.

Награды состояли в пожизненной аренде (доходы от казенного имения), выражении высочайшего благоволения, денежных выдачах до пяти тысяч рублей, чинах, орденах, бриллиантовых перстнях и т. п.

Самую высшую награду, как и следовало предполагать, получили непосредственные усмирители восстания—генерал Тимофеев и князь Херхеулидзев, из которых последний аттестуется, как „заслуживающий примерной награды за командование более года оградительной линией и за действия во время бунта". О роли Тимофеева не только в подавлении восстания, но и в качестве председателя комиссии „по изысканию причин мятежа", читатель, конечно, хорошо помнит. Оба они получили пожизненную аренду, что выражалось в нескольких десятках тысяч дохода в год.

Денежную награду получил симферопольский исправник подполковник Савельев, который „во время бунта сам лично командовал татарами, приведенными головами для уси-

[1] Там же.

[2] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд. адм. Грейга, д. № 22.

ления линии". Получил награду Меметша мурза Булгаков, „командовавший обывательской линией" Северной стороны, а также волостные головы Байдарской, Озенбашской и Дуванкойской волостей—„за то, что привели по первому требованию по 500 человек татар для усиления линии во время севастопольского бунта и занятия важных постов". Весьма солидную сумму в 5000 руб. получил д-р Ланг.

Карантинные и медицинские чиновники получили двух- и трехгодовые оклады жалованья. По неполным сведениям получили награду 72 офицера, унтер-офицеров—98 человек по 10 и 15 руб, а остальные из находившихся в линии оцепления по 2 рубля ассигнациями. Получили награды всевозможные чиновники разных гражданских ведомств вплоть до почтовых [1].

Таким образом, севастопольское чиновничество в дополнение к незаконному обогащению во время карантинного оцепления получило и вполне „законное" подкрепление от царя. Награды раздавались чрезвычайно широко и щедро, и получение их зависело лишь от благорасположения высших ведомственных начальников, которые получили право представлять к наградам и аттестовать своих чиновников.

---

[1] Крымархив. Фонд канцел. Таврич. губернатора № 653 (арх. 492) с ходатайством о монаршем награждении... лицам, участвовавшим в прекращении в Севастополе чумы.

ГЛАВА XI

В заключение нам остается подвести вкратце итоги тому фактическому материалу, который изложен на основании главным образом архивных источников, и сделать соответствующие выводы.

Прежде всего необходимо категорически отвергнуть ложную трактовку севастопольских событий дореволюционными официальными „историками", видевшими в них стихийный чумный бунт, в котором решающую роль, якобы, играли женщины и дети. Точно так же необходимо отвергнуть и объяснение, даваемое Грейгом восстанию, как внезапному порыву чувствований народа, явно искажающему его перспективу и окраску.

Наоборот, все изложенные нами факты приводят нас прежде всего к выводу, что Севастопольское восстание совершенно не соответствует представлениям, созданным о чумных и холерных бунтах этими самыми „историками", которые в свою очередь весьма далеки от соответствия подлинным историческим фактам.

Представление о чумных и холерных бунтах николаевского времени этих историков сводятся к тому, что темные и отсталые массы, не понимающие полезности карантинных мероприятий и научных способов лечения, пропитанные суевериями и подстрекаемые всевозможными „преступными элементами", считая, что холеру и чуму „разводят доктора", поднимались в стихийном мятеже против медицинских мероприятий и обрушивали свой гнев на медицинский персонал и карантинных чиновников, убивали их и громили больничное имущество.

Оставим пока в стороне вопрос о соответствии этой картины историческим фактам и посмотрим, имеет ли что-либо общее с ней Севастопольское восстание.

Главную массу восставших в Севастополе составляла, как мы видели, наиболее сознательная, организованная и развитая часть населения — матросы флотских экипажей, мастеровые рабочих экипажей, отставные матросы и мастеровые, а также их жены и вдовы, городские ремесленники, разночинцы и мелкие чиновники.

Во главе восстания в качестве его руководителей и во-

жаков отрядов стояла самая культурная по тому времени часть матросов из младшего командного состава—унтер-офицеры, квартирмейстеры и боцманы. С преступными элементами, пытавшимися использовать восстание в своих корыстных целях они беспощадно расправлялись.

Народный гнев в Севастополе не был направлен на весь без исключения медицинский персонал и всех карантинных чиновников. Наоборот, в списке лиц, подлежавших казни, было лишь несколько врачей и высших карантинных чиновников. Из остального медицинского персонала, остававшегося все время в городе, никто решительно не был тронут. Более того, относясь с ненавистью к извергам—врачам Лангу, Верболозову, Шрамкову, Валявскому, других врачей „медика Глаголева и других принимали, верили и повиновались“ [1].

Доктор Закревский в цитированных выше записках также говорит,—„добрые, пока еще кроткие жители, доверчивы ко мне“ (стр. 299).

Самые строгие карантинные мероприятия жители все время выполняли беспрекословно, даже такие нелепые и вредные, как купанья в бухте и обливание холодной водой. Сопротивление оказывалось лишь, когда в карантин отправляли совершенно здоровых людей или с болезнями явно не чумного характера.

Возмущение жителей направлялось не против медицинских мероприятий, а против ужасных карантинных условий и бесчеловечного обращения с больными и здоровыми, казнокрадства и произвола местных властей.

А между тем, поведение некоторых врачей и мортусов как раз могло бы вызвать враждебное отношение ко всему вообще медицинскому персоналу, чего на самом деле в Севастополе не было. Вспомним способы „лечения“ больных мортусом „Колдуном“, в результате которого умерло около восьмидесяти человек; странные обстоятельства, сопровождавшие смерть Щегловой, приведшие жителей слободок к убеждению, что она была задушена мортусами; „обольстительные предложения Верболозова жене унтер-офицера Кириллова с поднесением конфект, после которых она и трое детей умерли“ (изложение о ходе событий. Фонд Грейга, д № 20), причем протоколы допроса свидетелей о смерти Щегловой и Кирилловой были, между прочим, подписаны представителем Воронцова Качони.

Если тем не менее эти факты, являвшиеся результатом преступных действий отдельных врачей и мортусов,

[1] Лоция. Архив нар. хоз. Фонд адм. Грейга, д. № 21.

не были населением обобщены и отнесены ко всем решительно медикам,—то это свидетельствует о большой сознательности участников Севастопольского восстания.

Наконец, мы имеем факты, возможность которых совершенно исключается официальными „историками“ в их трактовке восстания чумным бунтом, а именно участие как в агитации против бессмысленных карантинных мероприятий, так и в самом восстании некоторых медицинских чинов, как, например, фельдшера Цивилина и других.

Весьма характерен в этом отношении эпитет „карманная чума“, широко распространенный в городе, а также основное намерение участников восстания—„выбить чуму из начальства“, свидетельствующие о том, что восставшее население имело в виду не избиение медиков вообще, а борьбу со всеми теми, кто „выдумал чуму“ в целях своего личного обогащения и угнетения масс. Мнение же о несуществовании чумы в городе было широко распространено среди самых разнообразных слоев населения Севастополя вплоть до известной части высшего офицерства.

Таким образом, версию Хартахая и Кондораки о Севастопольском восстании, как специфически чумном бунте, (в освещении и понимании подобных „бунтов“ ими же самими), мы должны со всей решительностью отвергнуть. С такой же решительностью должны отвергнуть и второе утверждение, будто Севастопольское восстание является чисто „женским бунтом“, „бабьим бунтом“.

Мы уже видели, как Хартахай,—чтоб доказать это положение,—вполне сознательно извратил факты, когда, описывая восстание, он переносит его начало на Корабельную слободку и изображает дело так, что женщины и дети, без участия городских матросов, одним своим беспорядочным натиском „с воем и плачем“ прорвали, якобы, солдатский строй.

Активное участие большого количества женщин в Севастопольском восстании не только нельзя отрицать, но его следует особенно подчеркнуть, так как оно является чрезвычайно для него характерным. Но отсюда далеко еще до определения характера восстания „женским бунтом“.

На самом же деле огромное большинство участников восстания составляли мужчины. Женщин было, судя по приговорам военно-судной комиссии, не более одной трети.

Главная роль в восстании также принадлежала мужчинам, которые и подготовляли его и руководили им, причем женщины участвовали совместно с мужчинами во всех

его стадиях. Весьма большое количество женщин участвовало в тех отрядах или „партиях", на которые были разделены восставшие, и были вооружены так же, как и мужчины—дубинами, ломами, железными кочергами и пр. Некоторые из них как будто даже возглавляли такие отряды, как, например, отставная чиновница дворянка Дарья Семенова, у которой от „дворянства" оставалось только звание и которая первая напала на генерала Примо и увлекла за собой заколебавшихся было матросов рабочего экипажа в дом Сталыпина. Самое ответственное поручение—начать в условленное время бить в набат на колокольне соборной церкви—также было поручено женам мастеровых 17-го рабочего экипажа Гриченковой и Тютюниной.

Активное участие принимали женщины и в ночных обысках, когда матросами был выдвинут новый лозунг—„бить и убивать всех офицеров и генералов".

Чрезвычайно большую роль, наконец, играли женщины на Корабельной слободке с 28 мая по 3 июня, когда они служили целям маскировки приготовлений к назначенному на 3 июня восстанию. В то время как мужчины занимались обучению тактике сухопутного боя, все переговоры с начальством вели почти исключительно женщины или мужчины под их прикрытием. При этом они действовали чрезвычайно дисциплинированно и артистически выполняли свою роль: убедить начальство чем угодно—слезами, заверениями и т. п., что никакого выступления 3 июня не будет.

О дисциплине же, царившей среди женщин, нам свидетельствует контр-адм. Скаловский и другие, по словам которых, невероятный шум и крик, сопровождавший переговоры женщин с начальством, немедленно прекращался, лишь только Тимофей Иванов поднимал руку, после чего наступала мертвая тишина.

Напомним также то мужество и дисциплинированность, с какими слободские женщины выступали пред военно-судной комиссией, давая одинаковые показания, что „ничего не видели, ничего не слышали", и не выдавая "зачинщиков".

Весьма характерно, наконец, для Севастопольского восстания, что в нем принимали участие женщины разных национальностей. Помимо русских, мы встречаем среди осужденных—евреек, турецко-подданных (вероятно гречанок) и даже, судя по фамилии—Муслядинова,—татарку. Последняя—инициаторша расправы со Шрамковым.

При всем том активном участии, какое женщины принимали в восстании, однако ни в количественном отношении, ни в отношении руководства—решающей роли они не играли.

Активное участие женщин в Севастопольском восстании объясняется тем, что из них огромное большинство были жены и вдовы матросов. При двадцатилетней службе своих мужей, находившихся постоянно в отлучке, они вынуждены были с самой ранней молодости фактически содержать своим трудом всю семью. Это развивало в них большую энергичность и самостоятельность. Они далеко не были так забиты и темны, как жены тогдашних рабочих и в особенности крестьян. По отзыву одного из современников восстания—деда Кондораки—севастопольские матросски были весьма деятельны, оборотисты и в случае получения обиды умели за себя постоять.

Описанные нами факты, предшествовавшие восстанию и по ходу самого восстания, полностью опровергают вывод и Грейга о том, что оно явилось „внезапным порывом чувствований народа", впрочем опровергаемый им самим в другом месте.

Наоборот, мы видим, что „чувствования народа" зарождались и накапливались в продолжение довольно большого времени, проходя в своем развитии ряд стадий по мере ухудшения материального положения и увеличения издевательств со стороны начальствующих лиц.

В течение осени 1829 г. это было лишь глухое недовольство и ропот, главным образом, в связи с недостатком продовольствия и топлива.

С нового 1830 года, ознаменовавшегося введением ряда жестоких и бессмысленных мероприятий, увеличением злоупотреблений на почве уничтожения имущества лиц, отправляемых в карантин, развитием продовольственных спекуляций, системой издевательского отношения к беднейшему населению,—мы видим уже открытый ропот и систематические групповые и единичные выступления против распоряжения начальства, причем последние в отдельных случаях принимали форму вооруженного сопротивления.

В этот именно период в известной части матросов, мастеровых и отставных нижних чинов, созревает решение самим ликвидировать „карманную чуму" и „выгнать чумную заразу" из начальства, разговоры о чем происходят довольно открыто с угрозами отдельным лицам вскоре с ними рассчитаться. К концу этого периода, надо полагать, на Корабельной слободке существовала уже группа, которая открыто вела среди населения агитацию за неповиновение начальству и, повидимому, принимала уже практические шаги к организации восстания. Без этого была бы непонятна посылка 29 мая юнги Соловьева к матросам рабочего экипажа и их ответ через юнгу же, что они „уже готовы".

Последний период перед восстанием с 27 мая по 3 июня 1830 г. когда, казалось бы, „чумные“ причины отпали не только для всего народа, но и для жителей Корабельной слободки, которых 27 мая обещали освободить к 3 июня,—как раз и характеризуется уже с 28 числа „всеобщим возбуждением“ и отказом слобожан разойтись с площади по домам. После объявления 29 мая о выселении части слобожан за город, положение стало напряженнее, всеобщее возбуждение в Севастополе достигает высшей точки. В городе всюду вслух говорят о решении итти на помощь жителям слободки, матросы открыто в лицо бросают офицерам и полиции обещание с ними расправиться, что вызывает памятный нам приказ вице-адм. Патаниоти всем офицерам день и ночь быть при своих частях.

В это же время из Корабельной слободки передается в город „директива“ начинать „бунт“ 3 июня „после шабаша“ по звону в колокол и крику „ура“, а сама слободка ограждается пикетами от возможного нападения со стороны правительственных войск. В слободке открыто организуется „род военного совета“, который руководит всеми подготовительными действиями, организует обучение матросов пехотному строю и составляет список лиц, подлежащих смерти.

Самое восстание 3 июня начинается точно в назначенное время и по указанному сигналу. Проводится оно также по известному плану: все намеченные действия совершаются определенными отрядами городскими и слободскими, возглавляемыми определенными же лицами. Организованно совершается обход и разгром квартир лиц, присужденных на „Совете“ к смерти, истребование подписки о том, что „чумы нет и не было“, посылка в город специальной инструкции и т. д. Так же организованно совершается на другой день восстания, 4 июня, ряд попыток прорвать наружное оцепление города.

Все это ясно доказывет, что Севастопольское восстание было известным образом заранее подготовлено определенной организацией или вернее группой лиц („Добрая партия“?), и также организованно по заранее выработанному плану проводимо.

Для того же чтобы ответить на вопрос, что это была за группа „Добрая партия“, необходимо произвести еще дополнительные исследования в архивах Центрального архивного управления, Одесском и Николаевском.

Точно так же несомненно ясны и причины, вызвавшие это „всеобщее возмущение“.

Основа их лежит, с одной стороны, в том невыносимом

режиме, который царил во флоте в николаевское время, в жесточайшей „палочной“ дисциплине, полном подавлении личности и бесправии матросов, которые между тем были наиболее развитой и сознательной частью так называемого „простого народа“; в тягостях только что окончившейся войны; в многочисленных злоупотреблениях с интендантским снабжением; в бедственном положении семейств матросов в связи с оцеплением города в течение более двух лет и теми издевательствами, какие они терпели от всевозможных карантинных, медицинских и полицейских чиновников.

Для гражданского населения, и в том числе семей матросов, причина восстания кроется в тех невероятно тяжелых, бедственных условиях, в которых оно оказалось после оцепления города, лишившись всех обычных источников заработка для ежедневного пропитания; в режиме полного произвола и бесправия, в которых находились „низшие классы“ в николаевской России, в особенности на столь далекой окраине; в системе невероятных истязаний, которым они беспрерывно подвергались с начала 1830 года, в невероятном росте спекуляции со всеми „жизненными припасами“ и беззастенчивых злоупотреблениях с казенными пайками.

Таким образом, главные корни Севастопольского восстания кроются в социально-экономических отношениях разлагавшегося самодержавного крепостного строя, в общей системе полного бесправия, безграничного угнетения и насилий, которыми характеризуется все царствование Николая I и которые достигали своих предельных возможностей в такой отдаленной, недавно покоренной окраине, какой тогда был Крым.

Вместе с тем локальными причинами являются те чрезвычайно тяжелые обстоятельства, в каких оказались жители Севастополя после закрытия города под предлогом чумной эпидемии, которое создало благоприятные возможности для всех невероятных злоупотреблений и спекуляций, являвшихся прямым порождением всей николаевской системы.

В Севастопольском восстании мы находим и некоторые политические моменты,—это его направленность против всех местных царских властей, призыв к уничтожению всего офицерства, намерение связаться с татарским населением и послать за турецким флотом, с не совсем, правда, ясной целью,—для того ли, чтобы получить от него лишь помощь или чтобы создать совместно с татарским населением независимый от России Крым под покровительством Турции.

По составу участников это было восстание в первую очередь флотских матросов и морских же мастеровых, а также всего вообще беднейшего населения города, начиная от матросских жен, вдов отставных нижних чинов, рабочих-резников, трудовой бедноты и включая наименее обеспеченную часть мелкой буржуазии, как мелочные и разносные торговцы, мещанство в лице мелких ремесленников, мелкое чиновничество и разночинцы.

Направлено восстание было не только против отдельных карантинных и медицинских чиновников и наиболее ненавистных попов, но против всего офицерства, властей и полиции („все власти города были ниспровергнуты"), а также против различных спекулянтов-купцов, комиссионеров и ростовщиков. „Разъяренные матросски,— по словам Кондораки,— начали врываться даже в купеческие дома и тиранить всех, которые не пользовались их расположением" [1].

Общая классовая ненависть объединила беднейшие массы всех национальностей Севастополя— русских, евреев, греков и других, яростный гнев которых был направлен против купцов-спекулянтов разных же национальностей— русских, евреев, греков.

Севастопольское восстание 1830 года должно было иметь революционизирующее значение и должно было сыграть известную политическую роль в николаевской России.

Как ни старались его скрыть от современного общества, но сведения о нем широко распространились по всей России, о чем говорят, правда, совершенно глухие, попутные, в два-три слова, упоминания о нем и в литературе николаевского времени. Рассказы о нем передавались, несомненно, и устно и письменно офицерами, чиновниками и прочими его очевидцами или потерпевшими от него. Рассказы о нем широко распространились буквально по всем концам России теми шестью тысячами высланных из Севастополя, которые большими партиями по этапу направлялись на запад в Динабург и Бобруйск, на север в Архангельск и Сибирь и в центральную Россию—в военные поселения, куда были отосланы все дети в возрасте от 5 до 17 лет.

Широко прокатившиеся с 1831 г. по военным поселениям так называемые „холерные бунты", имеющие некоторые общие черты с Севастопольским восстанием (конечно, не в их трактовке официальными „историками"), до известной степени, могли явиться отзвуком этого восстания, и если не опыт, то пример Севастопольского восстания мог сыграть в них свою роль.

Рассматривать Севастопольское восстание необходимо не

[1] Кондораки. Цитир. соч.

изолированно, а в общей связи с массовыми движениями XIX столетия, бывшими до него и после и являвшимися формой протеста против дворянского крепостного строя, против николаевской системы жесточайшего угнетения народных масс. В таком аспекте Севастопольское восстание должно войти в историю классовой борьбы в России XIX века, как одно из значительных явлений, как крупное массовое движение.

В заключение нам остается ответить на последний, невольно возникающий вопрос. Почему Севастопольское восстание, столь быстро и удачно подготовленное, в результате которого весь город через несколько часов оказался в руках восставших, через несколько дней было столь же легко подавлено.

Ответ по существу уже был нами дан в определении характера восстания.

Восставшие массы, не имея определенной политической задачи, не имея никакого политического опыта, „ниспровергнув все власти внутри города" и захватив последний в свои руки, не знали „что им делать завтра". План—снестись с Турцией—был для них самих не ясен. Все это вместе взятое должно было неизбежно повести к ослаблению и дезорганизации сил восставших, к спорам о дальнейшей тактике, разногласиям и разложению в самой среде руководителей восстания.

Иначе и не могло быть, ибо не было еще того социального фермента, который один только мог объединить, спаять и повести за собой угнетенные массы, не было еще промышленного пролетариата, который только рождался как класс, а между тем „опыт всех революций и всех движений угнетенных классов... учит нас, что только пролетариат в состоянии объединить и вести за собой распыленные и отсталые слои трудящегося и эксплоатируемого населения"[1] на борьбу с самодержавием, на борьбу с капитализмом, за полное раскрепощение всех трудящихся от всякой эксплоатации, на борьбу за социализм—коммунизм.

Но и будучи раздавлено царским сапогом, Севастопольское восстание, участники и руководители которого, как мы видели, держались чрезвычайно стойко и бесстрашно даже пред лицом палачей, сыграло известную роль в расшатывании самих устоев царского самодержавно-крепостнического строя.

---

[1] Ленин, т. XXIV, стр. 14. Речь при открытии Первого междун. коммунист. конгресса.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение 3

Глава первая. Характеристика Севастополя и его населения к 30-м годам XIX в. Социально-экономические отношения. Казнокрадство и спекуляции. Взаимоотношения среди офицерства. Экономическое и правовое положение масс 8

Глава вторая. Положение матросов, солдат и мастеровых. Интендантские злоупотребления. Развитие во флоте болезней. Ревизия Севастопольского порта 18

Глава третья. Карантинное оцепление города. Строгий карантинный термин. Положение жителей слободок. Карантинные условия. Отрицание наличия чумы медицинским советом 24

Глава четвертая. Положение населения Севастополя с начала 1830 г. Рост смертности на почве бессмысленных медицинских мероприятий. Была ли в Севастополе чума. Издевательства над жителями 35

Глава пятая. Введение „всеобщего оцепления" в городе. Кому оно было нужно. Рост продовольственных злоупотреблений и спекуляций. Агитация и выступления против властей. Вооруженное сопротивление матроса Полярного и разоружение населения . . . 47

Глава шестая. Положение в городе после снятия „всеобщего оцепления". Попытка выселения жителей Корабельной слободки за город. Подготовка к восстанию. Контрмеры местных властей . . . 56

Глава седьмая. Восстание севастопольских масс. Последние приготовления к восстанию и их маскировка. Действия восставших в городе. Освобождение Корабельной слободки. Отношение к восстанию младшего офицерства. Новый лозунг восставших: „бей и убивай всех офицеров". Действия восставших после 3 июня . . . 67

Глава восьмая. Расправа с севастопольскими массами. Борьба между Воронцовым и Грейгом. Деятельность следственных комиссий. Роспуск Грейговской комиссии. Комиссия генерала Тимофеева 96

Глава девятая. Судебная расправа с участниками восстания. Конфирмации Воронцова. Расправа Николая I с женщинами и детьми. Бедственное положение осужденных и высылаемых 114

Глава десятая. Награждение душителей восстания и чиновников. 134

Глава одиннадцатая. Общие выводы. Искажение характера восстания дореволюционными историками. Роль женщин в восстании. Характерные черты Севастопольского восстания. Причины неудачи восстания 138

Обм. 1963 г.
Акт Р К-25 95/2

Сдано в производство 8/VIII-36 г. Подписано к печати 17/XII-36 г. Формат бумаги 62×9¹/₁₆. Бум. лмст. 4⁵/₈ Авторск лист. 9,37 печ. лист. 9¹/₄ в печ. листе 35,6 тыс. зн. Крымгиз № 155 Уполглавлит Крым. АССР „А" № 153. Тираж 8000 экз.

1-я Гостипография Крымполиграфтреста. Симферополь, ул. Кирова. 23. Заказ № 2587.